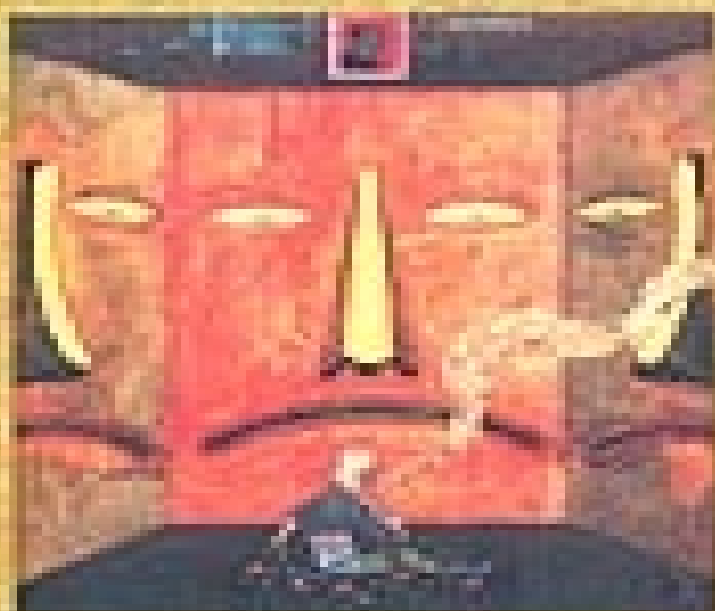


Джордж
ОРУЭЛЛ



СКОТСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1984

ДОЧЬ
СВЯЩЕННИКА
ДНИ В БИРМЕ



Annotation

Один из главных героев «Дней в Бирме» старший судья У По Кин стремится к власти. Будучи ребенком, он увидел победный марш британцев по захваченной Бирме и признал их силу и власть. Став судьей, уважаемым человеком, у которого есть все, У По Кин стремится расширить свою власть ради власти...

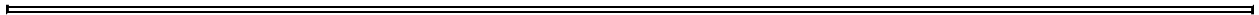
- [Джордж Оруэлл](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)



Джордж Оруэлл

Дни в Бирме

*«Темница одиночества
Под сенью печали сумрачной»
– Как Вам Это Понравится*

У По Кин, старший судья Кьяктады, Верхняя Бирма^[1], сидел на веранде. Было лишь полдевятого утра, но утро было апрельским, и наплывавшая жара уже грозила зноем томительных дневных часов. Редкие вздохи ветерка, казавшегося в духоте даже прохладным, покачивали гроздья свисающих с карниза, еще росистых орхидей. За орхидеями виднелся пыльный кривой ствол пальмы, а далее – синее ослепительное небо. В нестерпимо режущей глаз солнечной вышине кружила стая едва различимых парящих грифов.

Застыв громадным фарфоровым божком, У По Кин пристально, не мигая, глядел на солнце. Немолодой и такой жирный, что уж давно не мог самостоятельно вставать со стула, он, однако, выглядел вполне ладным, даже красивым в своей тучности (у бирманцев плоть с возрастом не оплывает буграми складок, как у белых, а гладко наливается подобно спелым плодам.). Все домашнее одеяние составляло обернутое вокруг тела полотнище завязанного у подмышек клетчатого, изумрудно-малинового лонги; в пол упирались босые, пухлые, с едва прорезанными пальцами ступни очень кривых коротких ног, голова была наголо обрита. Глаза на широком, желтом, совершенно безволосом лице темнели рыжим янтарем. Угощаясь листьями из лакированного ларчика, У По Кин жевал бетель и думал о пройденном пути.

Путь был блистательно успешным. Самое раннее воспоминание хранило чувства голопузого малыша 1880-х, видевшего победный марш британцев в Мандалае^[2]. Помнился ужас от колонн красных мундиров краснолицых гигантов, пожирателей коров, помнились длинные винтовки за их спинами и мерный грохот их башмаков. Заставивший удрать подальше детский страх вмиг почуял безнадежность состязания между своим народом и племенем жутких великанов. Уже ребенком У По Кин поставил целью примкнуть, пристроиться к могучим чужакам.

В семнадцать лет он попытался найти место подле администрации новых властей, но безродному оборванцу это не удалось, и три года пришлось шнырять по закоулкам мандалайских базаров, прислуживая, а подчас и воруя. В двадцать ему повезло – добыв удачным шантажом четыре сотни рупий, он тотчас поехал в Рангун, где за взятку купил себе официальную должность.

Местечко, несмотря на мизерное жалование, оказалось довольно

теплым. В ту эпоху шайке чиновников шла постоянная нажива от расхищения имперских портовых складов, и По Кин (тогда еще просто По Кин, почтительное «У» добавилось гораздо позже) естественно занялся тем же. Впрочем, не по его талантам было скромно таскать гроши да крохи. Однажды власти вознамерились расширить младший начальственный состав введением туда туземных служащих; приказ только готовился, но даровитый По Кин умел, в частности, все пронюхать неделей раньше остальных. И он не упустил свой шанс – донес на сослуживцев прежде, чем те почуяли опасность. Большинство вороватой чиновной мелюзги отправилось за решетку, а честного По Кина наградили постом помощника квартального инспектора. С тех пор он регулярно получал повышения. Будучи сейчас, в пятьдесят шесть лет, старшим судьей, вскоре, пожалуй, мог занять положение наравне с англичанами и даже выше многих из них.

Судейская система У По Кина была проста. Ни за какие дары он не стал бы выносить незаконный приговор, ибо знал – рано или поздно продажный судья попадется. Его мудрый, надежный метод состоял в том, чтобы, приняв взятки обеих спорящих сторон, решать дело строжайше по закону. Это, кстати, весьма укрепляло служебную репутацию. А в части доходов, помимо взяток от клиентов, он учредил некую твердую личную дань с подведомственных деревень; неплательщики карались нашествием бандитских шайек, либо арестами старейшин, либо иными бедами, которые кончались лишь при полном расчете. Судье также выплачивалась доля от грабежей в его районе. И все это, конечно, было известно всем (кроме тупо уверенного в подчиненных британского начальства), но попытки разоблачения терпели крах, так как любого обвинителя У По Кин с легкостью позорил толпой подкупленных свидетелей, потоком встречных обвинений и в итоге набирал еще больший вес. Фактически он был неуязвим: во-первых, отличался безупречным судейством, а во-вторых, тонко ведя свои интриги, не допускал тут ни ошибок, ни небрежности. Будущее его рисовалось ясно – и далее от успеха к успеху вплоть до пышнейших похорон почтеннейшего богача.

И даже смерть не остановит этот счастливый путь. Хотя буддисты верят, что творивший зло человек при следующем рождении явится жабой, крысой или иной мерзкой тварью, и У По Кин был истовым буддистом, он собирался предотвратить такой прискорбный вариант. Конец жизни он посвятит свершению праведных деяний, сумма которых перевесит бремя грехов. К заслугам добродетели относится, например, возведение пагод. Что ж, он построит четыре пагоды, пять, шесть (монахи скажут, сколько надо!), выстроит пагоды с ажурной каменной резьбой, золочеными

круглыми крышами, со множеством звенящих на ветру, поющих каждый свою хвалу небу колокольчиков. И возродится человеком – не женщиной, что означало бы разряд, подобный крысам и лягушкам, – а именно мужчиной или уж, в крайнем случае, мощным и величавым слоном.

Мысли текли в сознании У По Кина мельканием картинок; мозг его, хоть и хитроумный, был все же варварским, работавшим только конкретно. Но вот сюжеты данной темы истощились. Уперев жирные окорока рук в подлокотники, У По Кин слегка повернулся и крикнул, вернее просипел:

– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк!

Из-за бисерной шторы мигом возник слуга – малорослый рябой человечек, забитый и явно недокормленный (осужденному воришке, которому постоянно грозила отправка в тюрьму, хозяин не платил ни гроша). Двигался Ба Тайк крадучись, кланяясь так низко, что приближение его виделось робким отступлением.

– Слушаю, наисвятейший.

– Есть кто-нибудь ко мне?

Ба Тайк по пальцам перечислил посетителей: «Там, ваша честь, деревенский староста из Тхитпинги – принес подарки, и двое избитых деревенских жаловаться пришли, тоже с подарками. Еще вас желает видеть Ко Ба Сейн, старший клерк из Управления. Потом еще констебль Али Шах и бандит, как зовут не знаю, – ссора вроде бы из-за браслетов, которые они вместе украли. Девчонка еще деревенская с младенцем.

– Ей чего?

– Говорит, младенец от вас, наисвятейший.

– А-а! Сколько принес староста?

Ба Тайк доложил, что всего лишь десять рупий и корзину манго.

– Скажи старосте, – распорядился У По Кин, – с него положено двадцать рупий, плохо будет ему и всей деревне, если завтра денег не принесет. Теперь приму других. Позови К° Ба Сейна.

Тотчас явился Ба Сейн, узкоплечий, очень высокий для бирманца, со светло-кофейным, удивительно неподвижным лицом. У По Кин считал его весьма полезным, ведь от этой прилежной, начисто лишенной воображения деревяшки в Управлении не скрывалось ничего. После мысленной ревизии своих успехов, У По Кин встретил гостя благодушно, любезно махнув ладонью на ларчик с бетелем.

– Ну, Ко Ба Сейн, что ж наше дело? Надеюсь, как сказал бы дорогой наш мистер Макгрегор, «некоторый, м-м, прогресс, м-м, наблюдается»?

Не улыбнувшись шуточке, торчащий сухой жердью на стуле для посетителей Ба Сейн ответил:

– Прекрасно, сэр. Утром получено, взгляните.

Он протянул экземпляр двуязычной газеты «Сыны Бирмы», скверно отпечатанного на шершавой, едва ли не оберточной бумаге восьмистраничного листка, сляпанного из новостей «Рангунского вестника»^[3], и всякой высокопарной чуши местных националистов. На последней странице шрифт смазался траурной пеленой, будто в знак скорби о непопулярности издания. Статья, интересующая У По Кина, гласила:

«В эру счастья, когда нас, жалких темнокожих, озарил свет великой западной культуры, подарившей кино, винтовки, пулеметы, сифилис и другие неисчислимые блага, что может воодушевить сильнее, нежели сама жизнь наших белых благодетелей? Читателю, несомненно, будут любопытны кое-какие сценки на просторах родной Кьяктады. Особенно, если героем их предстанет наш глава, представитель комиссара, досточтимый мистер Макгрегор.

Благороднейший мистер Макгрегор являет собой тот тип Истинного Джентльмена, образчики коего ныне столь часто радуют наш взор. Он, по выражению дражайших европейских братьев, «опора семьи и общества». Да, мистер Макгрегор чрезвычайно предан семейным ценностям! Настолько, что за год успел обзавестись в Кьяктаде тремя детишками, а на предыдущем месте службы, в округе Шуэмьо, породил шестерых потомков. Видимо, лишь рассеянностью мистера Макгрегора объясняется то, что своих чад с их матерями он оставил без какой-либо помощи, предоставив им хиреть и голодать, и...»

Текст, ввиду непристойности содержания выделенный крупным набором, занимал всю полосу. Вытянув руку с газетой (он страдал дальновзоркостью), У По Кин сосредоточенно читал, рот его приоткрылся, демонстрируя массу великолепных мелких зубов, залитых алым соком бетеля.

– Редактора посадят на шесть месяцев, – заключил он.

– Ему нипочем. Только, говорит, в тюрьме и отдохнешь от кредиторов.

– Но неужели ваш писарь Хла Пи сам сочинил эту статью? Дельный парнишка! Зря болтают, что от правительственных школ никакого толка. Да, быть Хла Пи большим начальником!

– Вы думаете, сэр, статьи будет достаточно?

У По Кин молчал. Натужное пыхтение дало знать о его желании подняться. Немедленно скользнувший из-за шторы Ба Тайк и гость помогли ему встать. Колыхнувшись, уравновесив глыбу живота, словно грузчик корзину с рыбой, хозяин взмахом руки отослал слугу.

– Нет, – наконец ответил он Ба Сейну. – Ни в коей мере не достаточно.

Но для начала годится. Слушайте.

У По Кин через перила сплюнул жвачку, заложил руки за спину и начал мелкими шажками, переваливая необъятные бедра, прохаживаться по веранде. Говорил он на жаргоне туземных служащих, уснащая английские обороты бирманскими словечками.

– Итак, повторим. Мы хотим свалить суперинтенданта Верасвами, доктора, что заведует тюрьмой. Хотим прижать его, замазать грязью и прихлопнуть. Дело довольно тонкое.

– Да, сэр.

– Справимся, если осторожно. Противник наш не писарь или надзиратель. У нашего противника высокий чин, а человек с высоким чином, пусть даже он индус, это не клерк. С тем как? Обвинение, пара дюжин свидетелей, увольнение и под арест. Здесь так просто не выйдет, здесь моя тактика – тихо-тихо, тихо-тихо. Без шума и, главное, без официальных разбирательств, где всегда есть какой-то шанс оправдаться. И все-таки необходимо за три месяца вбить в головы европейцев, что Верасвами хуже всякого бандита. Чем его зацепить? Взятками не получится, он не берет. Тогда чем?

– Можно бы устроить тюремный бунт, – сказал Ба Сейн. – Доктор начальник, ему придется отвечать.

– Слишком опасно! Сторожа начнут палить из ружей во всех и каждого, это мне ни к чему. Да и дороговато. И потом ясно же, какое преступление нужно изобличить – предательство, тайная пропаганда. Мы должны убедить белых в мятежных, антибританских кознях доктора. Это для них страшнее взяток; к туземным хапугам они привыкли. Вот хоть на миг заставь их заподозрить его в измене, и с ним покончено.

– А как докажешь? – возразил Ба Сейн. – Доктор ведь прямо обожает белых; всегда так сердится, если кто скажет против них. Разве ж они поверят?

– Бросьте, бросьте! – лениво отмахнулся У По Кин. – В таких случаях им плевать на аргументы. Насчет всяких там темнокожих сомнения для них уже есть доказательство. Ручеек анонимных писем сработает великолепно. Лишь упорство: пиши донос, еще пиши, опять пиши – лучшее средство с европейцами. Письмишко за письмишком всем здешним белым, а лишь шевельнется их подозрительность!.. – выпростав из-за спины жирную руку, У По Кин щелкнул пальцами. – Наша статейка в «Сынах Бирмы» их разъярит. Отлично! Далее внушим им, что автор – доктор.

– Не очень-то внушишь, когда у него столько белых друзей. Они, как заболели, сразу к нему. И мистеру Макгрегору он тоже флюс вылечил.

Уважают они его.

– Ах, Ко Ба Сейн, не знаете вы их натуру! Если они и ходят к Верасвами, так потому, что других лекарей здесь нет. Никакой европеец никакому азиату не доверяет. Проблема одна – анонимки в достаточном количестве. И не останется этих приятелей.

– А мистер Флори? – (выговаривал Ба Сейн «мистер Плорий»). – Он ему верный. Как живет в Кьяктаде, утром всегда заходит к доктору, я вижу. Он даже два раза звал доктора к себе в гости.

– О-о, тут вы правы. Тут серьезная помеха; до индуса не добраться, пока он в дружбе с белым. У индуса тогда этот – как его? слово-то их главное? – «престиж»! Но Флори быстренько покинет друга, лишь на того сваятся неприятности; люди его народа не хранят верности туземцам. Притом мне довелось узнать, что Флори трус. Его я беру на себя. А ваше дело, уважаемый Ба Сейн, следить и следить за Макгрегором. Писал он еще комиссару секретной почтой?

– Пару дней назад была депеша, мы ее распечатали над паром, но там ничего важного.

– Ну-ну, скоро подкинем кое-что важное. И как раз подоспеет другая штука, о которой я уже говорил вам. Сделаем, – как это Макгрегор шутит? – «собьем двух пташек одним камушком». Целую стаю пташек, кха-ха-ха!

Смех выразился мерзким харкающим клокотанием, однако прозвучал весело, даже по-детски невинно. О «другой штуке», слишком тайной для обсуждений на веранде, У По Кин говорить не стал. Видя, что беседа закончена, Ба Сейн встал и поклонился, как складной метр.

– Еще какие-нибудь пожелания, ваша честь?

– Присмотрите, чтобы газета непременно попала к Макгрегору. И скажите Хла Пи, пусть заболит, скажем, дизентерией – сидит дома. Он мне понадобится анонимки сочинять. Пока все.

– Можно идти, сэр?

– Идите, храни вас небо, – рассеянно кивнул судья и снова вызвал слугу.

У По Кин попусту не тратил ни минуты. В быстром темпе разделался с остальными визитерами и выставил родившую деревенскую девчонку, которой хладнокровно заявил, что знать ее не знает. Тем временем настал час завтрака. Точнейшим образом соблюдавшее расписание брюхо свело острыми спазмами, У По Кин нервно закричал:

– Ба Тайк! Эй, ты! Кин-Кин! Еду мне! Есть хочу!

За шторой, в парадной гостиной уже был накрыт стол: громадная

миска риса и дюжина тарелок с кэрри, сушеными креветками, ломтями зеленых манго. Вперевалку добравшись до стола, У По Кин сел и, хрюкнув, накинулся на еду. Его жена Ма Кин – худенькая, лет сорока пяти, с кротким смугленьким обезьяньим личиком, – стояла сзади и прислуживала. Чавкающий супруг не обращал на нее никакого внимания. Зарывшись носом в гору риса, он пальцами жадно пихал в рот содержимое тарелок. У По Кин поглощал пищу в таких чудовищных объемах, так алчно и страстно, что трапезы его скорее походили на оргии, рисово-кэррийное распутство. Наевшись, он отдышался, сытно рыгнул разок-другой и велел жене принести зеленую бирманскую сигару (английского табака, по его мнению безвкусного, он не признавал).

Затем, облачившись при помощи Ба Тайка в официальный наряд, судья полюбовался собой перед высоким зеркалом гостиной. Гостиная, с деревянными стенами и двумя подпирающими крышу колоннами (вернее, просто стволами тиковых деревьев), была, как все бирманские жилища, неряшливой и темной, хотя хозяин постарался обустроить ее «по англичанской моде», для чего украсил буфетом, стульями, печатными портретами британской королевской семьи и огнетушителем. Пол устлали циновки, густо заляпанные соком лимона и бетеля.

Ма Кин уселась с шитьем на полу, а У По Кин топтался перед зеркалом, пытаясь обозреть себя сзади. Его роскошный наряд составляли шелковый бледно-розовый гонгбонг, крахмального муслина инги и парчовый пасо с радужным оранжево-желтым переливом. Еле-еле повернув голову, судье удалось все-таки разглядеть блеск на своих туго обтянутых парчой огромных ягодицах. Тучностью У По Кин гордился как несомненным символом величия: нищий худышка сделался жирным, грозным богачом. В сознании у него даже возник некий почти поэтический образ: пышное свое тело разбухало, вбирая плоть поверженных врагов.

– Мой новый пасо стоил двадцать две рупии, а, Кин-Кин? – улыбнулся он.

Согнутая в углу над шитьем Ма Кин была женщиной простой, старомодной, так и не освоившей мучительные европейские стулья. Каждое утро она сама ходила за провизией, неся корзину по-крестьянски на голове, а вечерами молилась где-нибудь в саду, обратив лицо к силуэту венчавшей город пагоды. Уже более двадцати лет ей поверялись все тайные козни супруга.

– Ко По Кин, – вздохнула она, – ты сделал в жизни много зла.

У По Кин отмахнулся: «Ну и что? Пагоды построю, еще успеется».

Ма Кин опустила голову, слегка дернув подбородком, то есть выразив

неодобрение.

– Но зачем? Я все слышала, у вас с Ба Сейном какие-то ловушки для индийского доктора. Чем он мешает вам? Он добрый человек.

– Что ты, женщина, понимаешь? Верасвами мне поперек дороги. Во-первых, взятки не берет и этим всем нам вредит, а кроме того. Ладно, с твоим умишком не осилить.

– Ох, Ко По Кин, ты стал очень богатым, очень важным, но что хорошего? В бедности у нас была радость. Помнишь, когда ты служил только надзирателем и мы купили свой первый дом? Как мы гордились новой плетеной мебелью и твоей авторучкой с золотым зажимом! А как почетно это было, когда полисмен-англичанин зашел к нам и сидел на лучшем нашем стуле, и выпил у нас за столом бутылку пива! Счастье не только от богатства. И чего ж тебе еще?

– Чепуху мелешь, женщина! Займись кухней, шитьем, а в дела, где не смыслишь, не лезь.

– Хорошо, я жена твоя и всегда тебе повинуюсь. Но все-таки не стоит медлить с заслугами перед небом. Старайся заслужить побольше небесной милости, Ко По Кин! Может, купишь живых рыб и выпустишь их обратно в реку? Это ведь очень праведно. Или вот – приходившие утром за рисом монахи сказали, что в монастыре два новых голодных служителя. Не хочешь ли им что-нибудь послать? Я ничего для них не дала, чтоб оставить этот добрый поступок тебе.

У По Кин наконец оторвался от зеркала, краем уха поймав довольно разумный призыв. Он никогда не упускал случая ненакладно свершить благое дело, которое виделось ему чем-то вроде вклада под высокий процент. Каждая возвращенная в реку рыбка, каждая чашка риса монаху продвигали к блаженству нирваны. Что ж, случай подходящий! У По Кин велел отправить в монастырь корзину манго, принесенную деревенским старостой.

Затем он вышел и в сопровождении тащившего пачку бумаг слуги пустился в путь. Ступал он медленно, осторожно неся живот и держа над собой желтый шелковый зонтик. Парчовый пасо сверкал на солнце сахарной глазурью. Судья шел в должность разбирать сегодняшние тяжбы.

В тот час, когда для У По Кина началось деловое утро, «мистер Плорий», лесоторговый агент и друг доктора Верасвами, направился из дома в клуб.

Жгучий брюнет с обильной шевелюрой и от природы смугловатой, выжженной солнцем кожей, довольно крепкий, не растолстевший и не облысевший, Флори выглядел не старше своих тридцати пяти лет. Правда, дряблая припухлость вокруг глаз и впалые, явно не бритые поутру щеки несмотря на загар обличали отсутствие здоровой бодрости. Одет он был в стандартный для этих мест костюм: белая рубашка, армейские чулки и шорты хаки, только вместо «топи» (тропического шлема) сдвинутая набекрень, затенявшая чуть не пол-лица панама. На запястье висел бамбуковый стек с плетью, возле ног резво бежала Фло, черный кокер-спаниель.

Все это, однако, виделось во вторую очередь. Первым в глаза бросалось кошмарное родимое пятно, которое неровным полумесяцем ползло по левой щеке от виска до рта. Слева лицо казалось устрашающе разбитым – сизое пятно темнело, как огромный кровоподтек. И Флори ни на миг не забывал о своей метке. Едва кто-нибудь появлялся вблизи, он начинал привычно маневрировать, стараясь встать боком, вывести из поля зрения свое уродство.

Жил Флори наверху, за армейским плацем, почти у края джунглей. От плаца дорога круто шла вниз, по бурому выгоревшему склону редкими яркими пятнами белело полдюжины бунгало местных британцев. Все зыбилось, дрожало сквозь пелену знойного воздуха. На полпути с холма располагалось обнесенное белой каменной стеной английское кладбище, рядом притулилась миниатюрная, крытая жестью церковь. Неподалеку стоял Европейский клуб. Причем именно клуб – одноэтажный деревянный барак – являлся главным, центральным зданием города. В любом месте Британской Индии клуб европейцев – духовная цитадель верховной власти, рай, по которому томится вся чиновная и торговая туземная знать. Относительно Кьяктады подобное значение можно было смело удвоить, ибо особой гордостью здешнего клуба являлось то, что он, едва ли не единственный в Бирме, был наглухо закрыт для азиатов. Позади клуба, алмазно сверкая, катила могучие бурые воды Иравади, а за рекой тянулись просторы рисовых полей, очерченных у горизонта цепью чернеющих

холмов.

Сам туземный город, со всем административно-юридическим ассортиментом, находился правее, почти целиком скрытый зеленой рощей фиговых деревьев; виднелся лишь торчащий над кронами золотым копьём шпиль пагоды. Типичный городок Верхней Бирмы, не особенно изменившийся со времен Марко Поло, Кьяктада могла бы дремать в средневековье еще много столетий, если б не оказалась подходящим конечным пунктом железнодорожной ветки. В 1910 правительство возвысило местечко до ранга окружного центра и очага прогресса, что выразилось учреждением судебно-полицейских контор с целой армией очень жирных, но вечно голодных служителей закона, устройством школы, больницы и, разумеется, возведением очередной из внушительных, вместительных тюрем, которыми англичане застроили всю землю от Гибралтара до Гонконга. Сейчас городского населения насчитывалось около четырех тысяч, в том числе пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семь человек европейцев. Имелось также два лица смешанных, евроазиатских кровей – мистер Самуил, сын баптистского миссионера, и мистер Франциск, сын миссионера католического^[4]. Ничего сколько-нибудь примечательного в городке не было, за исключением индийского факира, который уже двадцать лет проживал на дереве возле базара, спуская по утрам веревку с корзиной, куда ему клали еду.

Вышедшего из ворот Флори одолевала зевота; хмель от вчерашней пьянки еще не выветрился, яркий свет отзывался нытьем в печени. «Чертова дыра», – бормотал он, болезненно щурясь на открывающийся вид. А поскольку никто кроме собаки его не слышал, он, спускаясь по раскаленной красной тропе, похлестывая стеком иссохшую траву, стал на мотив псалма «Святой, святой Боже, Отец милосердный» напевать «Чертов, чертов город, драная дырища». Было почти девять часов, с каждой минутой солнце пекло все яростней, жара долбила череп мерным стуком чугунной кувалды. Возле клуба Флори притормозил, раздумывая, зайти или проследовать дальше, к доктору Верасвами. Потом вспомнил, что день «почтовый», что должны бы прибыть газеты, и через сад, мимо сетчатой, оплетенной лианами, обросшей звездами сиреневатых цветков ограды теннисного корта пошел в клуб.

Дорожку обрамлял чисто английский бордюр: флоксы и петунии, шорник и штокрозы – еще не спаленные зноем, цветы поражали размерами и роскошью; кустик петунии разросся в почти древесный куст. Но никакой лужайки, а вместо родной садовой зелени буйство могучей местной флоры – вздымающиеся над стволами кроваво-красные зонты огромные золотые

могары, плотно облепленный крупными желтоватыми цветками тропический жасмин, пурпурные магнолии, алые гибискусы, пунцовые китайские розы, лимонно-зеленые кротоны, перистые листья тамаринда. Глаза слезились от яркой, дикой пестроты. Мелькавшая среди зарослей в руках невидимого мали (садовника), лейка казалась пьющей нектар большой птицей.

На ступеньках клуба стоял, засунув руки в карманы, белесый англичанин со слишком широко расставленными светлыми глазами и удивительно тощими икрами – суперинтендант окружной полиции мистер Вестфилд. Покачиваясь взад-вперед, топорща верхнюю губу и щекоча пшеничными усами нос, он откровенно скучал.

– Привет, друг Флори. Жара драная, а? – кивнул он. Речь Вестфилда отличала солдатская краткость, рубившая фразы до минимальных порций. И хотя голос звучал глухо, мрачно, тон речей бывал неизменно шутлив.

– Другого в эту пору ждать не приходится, – ответил Флори, слегка отворачиваясь, пряча свое пятно.

– Ваша правда, сэр! Еще пару-то месяцев точно. Год назад до июля ни облачка. Чертово небо – синий таз эмалированный. А что, неплохо бы сейчас по Пикадилли?

– Газеты привезли?

– Все тут: старина «Панч» и «Шеголь», и «Звезды Парижа». С тоски по родине интересуешься? Пошли-ка выпьем, пока лед есть. Дружище Лакерстин успел заправиться. Уже хорош.

Под угрюмый клич Вестфилда: «Веди на бой, Макдуф!» они вошли внутрь. Обшитый досками, пропахший гнилью клуб вмещал всего четыре комнаты. Одну занимала обреченная чахнуть в безлюдье «читальня» с пятью сотнями заплесневевших романов, другую загромождал ветхий и грязноватый бильярдный стол, довольно редко привлекавший игроков, ибо тучами налетавшая, жужжавшая вокруг ламп мошкара беспрерывно валилась на голову. Имелась еще комната для карточной игры и, наконец – «салон», с веранды которого открывался вид на реку, хотя сейчас, ввиду палящего солнца все проемы были завешены циновками. Салон представлял собой неуютный зальчик, устланный кокосовыми половиками, обставленный плетеными стульями и столами с россыпью иллюстрированных журналов, густо украшенный по стенам всякой восточной «китаёзой» и вилками рогов здешних оленей-самбаров. Свисавшее с потолка опахало лениво пошевеливало в жарком воздухе столбы пыли.

В салоне отдыхали трое. Под опахалом, навалившись на стол, обхватив

голову руками, стонал багровый, несколько одутловатый здоровяк лет сорока – страдающий с похмелья мистер Лакерстин, представитель лесоторговой фирмы. Перед доской для объявлений свирепо вперился в какой-то листок представитель другой лесоторговой фирмы – мистер Эллис, тщедушный и нервозный, с ежиком жестких волос над остренькой бледной физиономией. Офицер Максвелл, военный инспектор лесных угодий, растянулся в шезлонге, листая номер «Просторов», выставив на обозрение лишь мосластые ноги да кисти рук с широкими волосатыми запястьями.

– Вот безобразник, – потрепал за плечо стонущего Лакерстина Вестфилд. – Пример юношам, а? Всевышний не одобрит. Задумайся, что явишь пред ликом Судьи небесного?

Лакерстин промычал нечто похожее на «бренди».

– Бедолага, – посочувствовал Вестфилд, – мученик беспробудной пьянки. Насквозь проспиртован. Вроде спавшего без москитной сетки полковника, про которого слуга объяснял: «Ночью хозяин пьяный москитов замечать – утром москиты пьяные замечать хозяина». Эх ты, с вечера не просох, но дай еще. А ведь малютка племянница едет погостить к дяде. Нынче вечером прибывает, а, Лакерстин?

– Да хватит пьянь очумелую трясти! – не оборачиваясь, раздраженно бросил Эллис говорком лондонского кокни.

– В ... ее, племянницу! Капельку бренди, Христа ради! – пробормотал Лакерстин.

– Полезно будет барышне, а? По семь дней в неделю любоваться дядюшкой под столом? Эй, бармен! – сжалился Вестфилд. – Бренди для мистера Лакерстина!

Мускулистый бармен, пожилой темнокожий дравид^[5] с прозрачно-желтыми, собачьими глазами, принес на медном подносе бренди. Флори и Вестфилд заказали джин. Лакерстин, залпом осушив стакан, откинулся на стуле и слегка умерил свои стенания. Под стать простецкому мясистому лицу со щеточкой усов он был действительно малым простым, претендовавшим лишь на то, что у него называлось «чуток гульнуть». Супруга управляла им единственно возможным способом – не оставляла без надзора более часа. Вскоре после свадьбы она оставила его на две недели и, возвратясь несколько раньше срока, нашла благоверного в обществе юной нагой бирманки, которая поила не стоящего на ногах кавалера виски прямо из бутылки. С тех пор, по словам Лакерстина, жена стерегла его «как чертова кошка чертову мышь». Впрочем, он все же ухитрялся «гульнуть», недолго, зато и нередко.

– Дьявол! Что у меня сегодня с головой? – поморщился Лакерстин. – Кликни бармена, Вестфилд, надо еще принять, пока супруга не нагрязнула. Грозит урезать мою норму до четырех стаканчиков, когда племянница приедет, провались они обе!

– Кончайте дурака валять, эй, всех касается! – сердито крикнул Эллис, вечно ругавшийся, коловший и цеплявший, язвительности ради напивавший на грубый уличный жаргон. – Видали, чего Макгрегор накарябал? Поднес нам хрыч сюрпризик! Максвелл, тебе говорю, кончай дрыхнуть!

Максвелл опустил газету и оказался свежим розовощеким блондином, чьи конечности и белые ресницы заставляли вспомнить юную ломовую лошадь. Возраст его (лет двадцать пять, двадцать шесть от силы) явно не соответствовал занимаемый им солидной должности.

Ловким злобным рывком отцепив с доски листок, Эллис начал громко читать послание мистера Макгрегора, совмещавшего пост главы местной администрации с обязанностями председателя клуба:

– Нет, вы послушайте: «Ввиду того, что на данный момент состав клуба не включает лиц азиатского происхождения, и, принимая во внимание официально утвержденный регламент, согласно которому в Европейских клубах допускается прием членов из числа, как уроженцев Запада, так и жителей Востока, возникает необходимость рассмотреть возможность подобной практики в Кьяктаде. Вопрос будет предложен для обсуждения на ближайшем общем собрании. С одной стороны, здесь может быть указано...». Ну, хватит эту блевотину хлебать, полслова не напишет, чтобы мути не напустить. Ясно – хочет порушить наши правила и протащить сюда негритоса. Какого-нибудь дорогого друга, доктора Верасвами-Вшивотами. Во бы уважил-то? Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять. Черт, не могу! Нам надо стеной встать и всей командой придавить эту заразу. Что скажешь, Вестфилд? Флори?

Раскуривая черную, едко дымящую бирманскую чируту, Вестфилд философски пожал плечами:

– Думаю, никуда не деться. Теперь по всем клубам полно туземных задниц. Страна, видишь ли, на пути прогресса. Мы вроде бы последние, кто держится.

– Но мы есть! И, главное, будем – будем, черт побери, держаться. Да я скорей издохну, чем пущу сюда негритоса! – стукнул Эллис карандашом по доске. С гримасой той невероятной ярости, которая зачастую сопровождает самые мизерные действия, он снова прицепил листок и мелко, аккуратно приписал вслед за означенным у подписи мистера Макгрегора титулом ПК

(представитель комиссара) («сэр П меня в Ж». Вот что я думаю насчет его идейки. Так прямо и сообщу, когда он явится. А ты что скажешь, Флори?

Флори пока не проронил ни слова. Хотя вообще-то он любил поговорить, но в клубных разговорах почти не принимал участия и сейчас читал статью Гилберта Честертона в «Лондонских новостях», левой рукой глядя положившую голову ему на колени Фло. Эллис, однако, был из породы неотвязных. Он повторил вопрос, Флори поднял глаза, их взгляды встретились. Тут же у Эллиса побелели ноздри, и кожа вокруг носа стала пепельной. Внезапно он разразился бешеной руганью, которая могла бы ошеломить, если бы в клубе не привыкли к ежедневным подобным взрывам.

– Это что ж? Я-то думал, что, когда надо отстоять единственное место, где со своими посидишь, отдохнешь от вонючих черных свиней, у тебя стыда хватит поддержать меня. Даром, что один вшивый доктор, пидор чернозадый, тебе дружок. Мне наплевать, что ты братков с помойки подбираешь. Нравится шляться к Верасвами, виски жрать с негритосами – давай! Когда не в клубе, так твори что хочешь. Но, клянусь богом, если кой-кому охота сюда черных, тут уж не выйдет. Сдается мне, ты бы не прочь протолкнуть в клуб своего Верасвами? Чтоб он тут в наши разговоры лез, руки нам жал поганой потной лапой и чесноком вонял. Ей-богу, если эта харя только в дверь сунется, вышибу пинком под зад! Рыло чумазое, скотина ...! И т. п.

Монолог длился несколько минут. Звучало это любопытно, ибо говорилось от всего сердца. Эллис искренне ненавидел восточных людей, ненавидел с острым физическим отвращением. Годами живя среди бирманцев, он так и не привык к их смуглым лицам, любая тень симпатии к туземцам виделась ему жутким извращением. Он был неглупым человеком и дельным служащим, просто такого типа англичанам – обычно не слишком удачливым – нельзя позволять даже приближаться к Востоку.

Флори поглаживал собачий загривок, не в силах поднять глаза на Эллиса. Отметина и в лучшие минуты мешала ему прямо смотреть на собеседника. И он уже заранее чувствовал дрожь в голосе, всегда дрожавшем именно тогда, когда так требовалась твердость. К тому же лицо у него подчас непроизвольно дергалось.

– Уймись, – проговорил наконец Флори. – Нечего кипятиться. Лично я никогда не имел желания брать в клуб туземцев.

– Да ну? Знаем мы про твои желания. Чего ж тогда каждое утро таскаться к чертову индусу? Сидеть с ним за столом, как с белым, пить из стакана, облизанного его жирными губами – нет, прямо рвет меня!

– Сядь, сядь, старик, не горячись, – вмешался Вестфилд. – Выпей-ка лучше. Плоховатый часок для ругани – жарница.

– Ей-богу, – чуть спокойнее сказал Эллис и прошелся туда-сюда. – Ей-богу, парни, я не понимаю. Не понимаю! Олуху Макгрегору, вишь ли, приспичило нам черномазого воткнуть, а вы сидите и ни гу-гу. Господи боже, на черта ж мы в этой стране? Если не хотим быть хозяевами, чего ж вовсе отсюда не убраться? Нам здесь положено управлять стадом драных черных свиней, но вместо четкого, ясного их мозгам порядка вдруг подавай равенство с этими скотами. И вам, придуркам с.... будто бы так и надо! Флори, вон, побратался с индюшкой, что доктором себя величает, пару лет похаживая в его вшивый Индийский университет. А ты, Вестфилд, чего-то строишь из себя, паясничаешь да взятки собираешь со своих полицейских шавок. А тебе, Максвелл, только бы за шлюхами полукровками бегать. Да-да, слышал я про твои шашни в Мандалае с одной сучкой по имени Молли Перейра. Небось женился бы на ней, когда б тебя подальше не услали? Вы уже сами стали вроде грязных черных скотов. Черт подери, ну что тут на всех находит? Прямо не знаю я!

– Иди, прими стаканчик, – позвал Вестфилд. – Эй, бармен! Пивка, что ли, пока лед есть? Эй, пиво нам!

Бармен принес мюнхенского пива. Эллис уселся за общий стол, перекачивая в горячих ладошках одну из запотевших бутылок. Лоб его еще был в испарине, он еще хмурился, но гнев уже остыл. Хотя злость и упрямство его не покидали, вспышки бешенства длились недолго, завершаясь без каких-либо извинений. Перебранки входили в рутинный клубный распорядок. Мистер Лакерстин, взбодрившись, изучал иллюстрации «Звезд Парижа». Пропитанный едким дымом чируты воздух после девяти заметно накалился. Спины у всех взмокли, рубашки начали липнуть первым сегодняшним потом. Сидевший снаружи и качавший за веревку опахало чокра (прислужник) явно заснул на солнцепеке.

– Бармен! – крикнул Эллис и, когда тот явился, приказал: – Живо поди растолкай драного чокру!

– Да, хозяин.

– Стой!

– Да, хозяин?

– Сколько осталось льда?

– Около двадцати фунтов, хозяин, но хватит наверно только на сегодня. Теперь, видимо, будет трудно сохранять лед.

– Не смей, черт подери, так выражаться – «видимо, будет трудно»! Учебник выдолбил? Ты должен говорить – «прощения, хозяин, лед теперь

долго не можно». Придется турнуть малого, коли станет чересчур бойко по-английски растабаривать. Не выношу слуг грамотеев. Ну, ты понял?

– Да, хозяин, – ответил бармен и ушел.

– Боже! До понедельника без льда! – вздохнул Вестфилд. – Обратно в джунгли едешь, Флори?

– Мне и сейчас там надо быть. Заехал только за почтой.

– А я, пожалуй, сам себя отправлю. Командировку выпишу, паек. Тошнит в жару от драной канцелярии. Парься там под проклятым опахалом, строчи, подписывай. Осточертела жвачка бумажная. Хоть бы снова война.

– Уеду послезавтра, – сказал Эллис. – В эту субботу, что ли, чертов поп прикатит? Нет уж, я как-нибудь свалю пораньше. Пусть без меня гундосит.

– В следующую субботу, – поправил Вестфилд. – Обязался предстать. Вслед за Макгрегором. Каторжная, должен заметить, работенка у его преподобия: мотается по округу, к нам, вон, на сутки, раз в полтора месяца. Могла бы и паства на денек поднапрячься.

– Да не про то! Я бы поблеял псалмы в уважение к попу, но прямо видеть не могу, как туземная сволочь прет в нашу церковь. Шайка прислужников мадрашек^[6], училишек каренов^[7] да еще двое этих желтопуzych, Самуил с Франциском – ишь ведь, тоже они христиане. На последней службе обнаглели пролезть вперед, усесться возле белых. Кто-нибудь должен с попом поговорить. Что мы за дураки драные, дали волю всяким миссионерам! Пускай тут учат черномаzych метлой махать по-нашему. А то – «сэр, и моя есть христианин». Сволочь нахальная!

– Как это «пара ног»? – озадачился мистер Лакерстин, протягивая через стол страницу «Звезд Парижа». – Флори, ты по-французски спец, как это? Черт, помню я свой первый отпуск, когда, холостяком еще, в Париж съездил. Эх, снова бы!

– А слышали «Там была барышня из Вокинга»? – вмешался Максвелл, юноша довольно робкий, но, как и полагается юнцу, обожавший непристойные стишки. Максвелл изложил биографию барышни из Вокинга, раздался смех. В ответ Вестфилд поведал про барышню из Илинга, которую одолевали странные желания, а Флори – про всегда принимавшего меры предосторожности викария из Хорсхема. Хохот усилился. Даже Эллис, смягчившись, пропел несколько куплетов (кстати, шуточки Эллиса, донельзя сальные, всегда были действительно смешны). Несмотря на жару все оживились. Кончив с пивом, только собрались заказать новую выпивку, как за стеной послышался скрип шагов, раздался жизнерадостно рокочущий, гулко отзывавшийся в дощатых стенах,

баритон:

– М-да, в самом деле, презабавно! Я этот эпизод включил в один из моих очерков для «Страны лесов». Помню также, когда полк наш стоял в Проме, другой отставник, о-о, чрезвычайно комичный случай!..

Стало очевидным прибытие председателя клуба. Лакерстин охнул: «Черт, жена...» и поспешно отодвинул стакан. В салон вошли мистер Макгрегор и миссис Лакерстин.

Мистер Макгрегор был грузным, дородным господином весьма за сорок, с физиономией добродушного мопса в золотых очках. Манера выставить голову из массивных сутулых плеч заслужила ему у туземцев прозвище «черепаха». На его светлом шелковом костюме ниже подмышек уже выступили пятна пота. Шутливо отсалютовав, мистер Макгрегор воздвигся перед доской объявлений, сияя, чуть наклонясь и поигрывая за спиной тростью на манер воспитателя школяров. При безусловном дружеском расположении, от мистера Макгрегора веяло столь настойчивой сердечностью, столь упорным приглашением вне службы забыть о его высоком ранге, что расслабиться рядом с ним не удавалось. Стиль его речей явно воспроизводил острословие некоего впечатлившего в раннем детстве учителя или священника. Обильно употребляемые старинные обороты, цитаты, поговорки, которые он полагал забавными, непременно предварялись разнообразным тягучим мычанием, возвещавшим юмористичность.

Миссис Лакерстин, являясь дамой под тридцать пять, отличалась модным изяществом уплощенно-удлиненного фасона. Разговаривала она томно и утомленно. При ее появлении все встали. Миссис Лакерстин опустила на лучшее место, под опахалом, обмахивая лицо вялой змеевидной рукой.

– О, дорогой, эта жара, о боже! Мистер Макгрегор был необычайно любезен, предложив довести меня в своем автомобиле. Представь, дорогой, наш негодяй рикша опять притворился больным. Не пора ли тебе хорошенько задать ему? Это кошмар, ходить пешком под этим солнцем.

Не в силах на ногах одолевать четыре сотни метров от дома до клуба, миссис Лакерстин выписала себе рикшу из Рангуна (кроме деревенских воловьих упряжек и автомобиля представителя комиссара единственный в городишке колесный экипаж). Сопровождая ненадежного Лакерстина в джунгли, супруга его стойко переносила все ужасы дырявых палаток, москитов и консервов, что с лихвой восполнялось повышенной хрупкостью в городской резиденции.

– Нет, в самом деле, слуги безобразно разленились, – вздохнула леди. –

Не правда ли, мистер Макгрегор? Во времена этих жутких реформ и развязных газетчиков к нам уже, кажется, здесь никакого почтения. Аборигены уже начинают дерзить почти как наши низшие классы.

– Надеюсь, все же не до такой степени. Однако демократический душок несомненно распространяется, доползая даже сюда.

– А ведь совсем недавно, до войны, аборигены были очаровательны, так мило кланялись с обочины – просто прелесть. Мы нашему дворецкому, я помню, платили двенадцать рупий, и он служил как верный пес. А теперь слуги требуют и сорок, и пятьдесят, и я могу дисциплинировать их только задержкой жалования.

– Тип старого слуги исчезает, – согласился мистер Макгрегор. – В дни моей юности лакея за непочтительность отсылали на конюшню с запиской «предъявителю сего десятка ударов плетью». Что ж, как говорят французы, *eheu fugaces* – ах, мимолетность! Увы-увы, былого не вернуть.

– Раскисло, – с обычной мрачностью добавил Вестфилд. – Не та уже страна. Финиш, говорю я, Британской Индии. Проиграно. Пора очистить территорию.

По салону прошелестел дружный вздох, вздохнул даже Флори, печально известный склонностью к большевизму, и даже юный Максвелл, живший в Бирме меньше трех лет. Любой британец знает и всегда знал, что Индия катится к черту – ах, Индия, ей, как старому доброму «Панчу», прежней уже не бывать.

Тем временем Эллис, вновь отцепив листок с доски и протянув его Макгрегору, ядовито заговорил:

– Вот что, Макгрегор, прочли мы записку насчет туземца в клубе и считаем это сплошным, – Эллис хотел сказать «дерьмом», но, учтя присутствие миссис Лакерстин, поправился: – сплошным невесть чем. У нас здесь единственное место, где посидеть своей компанией, и не хотим мы, чтоб туземцы тут шныряли. Нужно ж хоть где-нибудь передохнуть от них. Все остальные совершенно со мной согласны.

Эллис обвел взглядом сидевших. «Точно, точно!» – хрипло выкрикнул Лакерстин, в надежде своим энтузиазмом заслужить снисхождение супруги, уже увидевшей, конечно, что он напился.

С улыбкой взяв объявление, мистер Макгрегор прочел дополнившее его официальный титул «сэр П меня в Ж», внутренне поморщился от чрезвычайной вульгарности Эллиса, однако лишь добродушно усмехнулся. Держаться в клубе веселым славным товарищем стоило не меньше усилий, нежели соблюдение должной дистанции на службе.

– Надо полагать, наш друг Эллис не слишком жаждет общества, м-м,

арийского брата?

– Не, не жажду, – отрезал Эллис. – Мне косые не братья. Честно скажу – не люблю негритосов.

На последнем слове, очень не одобряемом наверху, мистер Макгрегор слегка напрягся. Сам он был абсолютно лишен предрассудков относительно жителей Востока, более того, питал к ним глубочайшую симпатию. Усмиренных аборигенов он находил прелестными резвыми существами и всегда с болью воспринимал беспричинные выпады в их адрес.

– Достойно ли, – холодно вато произнес он, – именовать этих людей «негритосами», употребляя термин сколь оскорбительный, столь и неверный относительно их истинной расовой принадлежности? Коренное население Бирмы состоит из племен монголоидной расы, тогда как обитатели Индии это арийцы или дравиды, и все эти народы весьма отличны от...

– Да пошли они! – перебил Эллис, отнюдь не благоговевший перед рангом представителя комиссара. – Зовите их негритосами или арийцами, мне без разницы. Я говорю, черномазых мы в клуб не пустим. Ставьте на голосование, увидите – все против. Разве что Флори будет за дорогого друга Верасвами.

– Точно, точно! – вновь крикнул Лакерстин. – От меня черный шар, я против, засчитайте!

Мистер Макгрегор досадливо поджал губы. Он оказался в затруднительном положении, ибо идея ввести туземного члена клуба возникла не у него, а была спущена ему из центра. Тем не менее, полагая дурным тоном оправдываться, он мягко, миролюбиво молвил:

– Не отложить ли рассмотрение этой темы до следующей встречи? Дадим созреть и отстояться нашим мнениям. А сейчас, – подходя к столу, добавил он, – кто готов разделить со мной некое, э-э, освежающее возлияние?

«Возлияние» немедленно заказали. Уже вовсю пекло и всех томила жажда. Только Лакерстин, воспрянувший, но под пристальным взглядом супруги буркнувший бармену «не надо», сидел, сложа руки на коленях, трагически наблюдая пустеющий в пальцах миссис Лакерстин бокал джина с лимонным соком. Призвавший к выпивке мистер Макгрегор сам, однако, предпочел лимонад – единственный из здешних европейцев, он строго воздерживался от алкоголя до захода солнца.

– Все это здорово, – ворчал Эллис, поставив локти на стол и нервно вертя стакан (спор с Макгрегором снова разгорячил его). – Все это здорово,

но у меня что сказано, то сказано. Сюда туземцам хода нет! Вот такими уступочками мы и подкосили Империю. Цацкались, цацкались с туземцами и только рушили страну. С ними одна политика – как с грязью. Момент критический, надо зубами и когтями драться за свой престиж, плечом к плечу стать и сказать: «Мы тут хозяева, а вы шваль драная!» – Эллис пристукнул сухим кулачком и повертел им, словно давя червя. – И ты, шваль, знай-ка свое место!

Безнадега, старик, – сказал Вестфилд. – Полная безнадега. Что сделаешь, если канцелярщина руки вяжет? Туземная рвань законы знает не хуже нас. Хамят прямо в лицо и не ухватишь их, ловкачей. Кулак разжали, так чего же им бояться?

– Наш бура-сахиб в Мандалае, – вступила миссис Лакерстин, – всегда говорил, что в конце концов мы просто бросим Индию. Молодежь больше не захочет здесь трудиться ради грубости и неблагодарности. А когда аборигены попросят нас остаться, мы им ответим: «Нет! Вам дали шанс, но вы его отвергли. Так что прощайте!». Это их научит!

– Права! Параграфы! – угрюмо отозвался Вестфилд, сосредоточенный на теме губительной законности. По его убеждению, спасти Империю от бунта и распада мог лишь режим постоянного военного положения. – Жвачка бумажная, писари индусы всем заправляют. Кончен номер. Одно – прикрыть лавочку и оставить местных вариться в собственном соку.

– Ни черта, ни черта подобного, – заволновался Эллис. – Решимся, так за месяц все выправим. Только быть малость похрабрее. Вон, в Амритсаре-то? Как они вмиг хвосты поджали? Дайер знал, чем их шугануть. Эх, старина Дайер! Подло с ним обошлись. И эти трусы в Лондоне еще чего-то твякают.

Ответный общий вздох прозвучал подобно вздохам католиков при нечестивом упоминании Святой Девы. Даже мистер Макгрегор, противник чрезвычайных мер и кровопролития, меланхолично покачал головой, услышав имя Дайера:

– Да-да, бедняга! Принесен в жертву этим, м-м, памятуя Киплинга, «большим политикам, столичным, романтическим» Что ж, возможно со временем, с прискорбным опозданием, господа гуманисты поймут свою ошибку.

– Насчет этого, – хмыкнул Вестфилд, – у моего прежнего губернатора была славная байка. Служил в туземном полку один старый сержант. Как-то его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. Старикан, почесав затылок, говорит...

Флори отодвинул стул и встал. Нельзя, немисливо – нет, просто

невозможно! Срочно уйти, иначе под черепом что-то взорвется и он начнет крушить мебель, швырять бутылки. Безмозглые, тупо балдеющие над стаканом идиоты! Как удастся ежедневно, годами напролет и слово в слово молоть все ту же чушь, размазывая тухлый газетный бред «Страны лесов»? Неужели никто здесь не способен хотя бы захотеть сказать что-нибудь новенькое? Что за место, что за люди! Что за культура – дикая, стоящая на виски, кислом шипении и стенках с «китаёзой»! Господи, пощади нас, ибо все мы в этом замешаны!

Ничего этого Флори, разумеется, не сказал и постарался не выдать себя выражением лица. Держась за спинку стула, он стоял чуть боком, со слабой, неуверенной улыбкой отнюдь не первого любимца общества.

– К сожалению, мне пора, – сказал он. – Дел по горло, нужно кое-что просмотреть перед завтраком.

– Постой, брат, опрокинь еще стаканчик, – махнул рукой Вестфилд. – Заря лишь заблестала. Возьми-ка джин, для аппетита.

– Спасибо, надо бежать. Пошли, Фло. До свидания, миссис Лакерстин, всем до свидания!

– Прямо-таки Букер Вашингтон, друг черномазых, – процедил, щурясь на хлопнувшую дверь, Эллис, всегда готовый плеснуть помоями вслед каждому покидавшему комнату. – Потопал, видно, к своему Вшивотами. Или слинял, чтоб долю за выпивку не вносить.

– Брось ты, он малый неплохой, – возразил Вестфилд. – Выступит иногда как большевик, но это он так, не всерьез.

– О да, славный парень, очень славный, – любезно подтвердил мистер Макгрегор.

Всякий европеец в Британской Индии по статусу, точнее по цвету кожи, «славный парень» и неизменно, если уж не выкинет чего-то вовсе непотребного, состоит в этом почетном звании.

– А по мне, чересчур от него гадом большевичком несет, – стоял на своем Эллис. – Воротит меня от парней, что в дружбе с черными. Не удивлюсь, коли и сам он дегтем разбавлен, не зря по роже будто смолой мазанули. Пегая морда! И похож на желтопузых – чернявый, кожа как лимон.

Возникла некая бессвязная перепалка из-за Флори, но быстро утихла, ибо мистер Макгрегор ссор не любил. Европейцы продолжили клубный отдых, заказав еще по стаканчику. Мистер Макгрегор рассказал еще анекдот из числа неизменно приходящихся кстати. Затем разговор вернулся к старым, но не тускнеющим сюжетам: дерзость туземцев, вялость центра, канувший золотой век, когда власть британцев поистине

являлась властью, и ностальгия о «подателю сего десятков ударов плетью». Эта тематика, отчасти благодаря маниакальной злости Эллиса, прокручивалась регулярно. Впрочем, избыток горечи был объясним. Жизнь на Востоке ожесточит и святого. Здесь всем белым, особенно официальным служащим, приходится узнать вкус постоянных издевательских оскорблений. Каждый день, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл проходили по улице, мальчишки школьники с юными желтыми физиономиями – гладкими как золотые монеты и полными столь свойственного монголоидным лицам надменного, доводящего до бешенства презрения – глумились над чужаками, порой раздражаясь гнусным хищным хохотом. Служба в Британской Индии не сахар. В первобытных солдатских лагерях, в духоте контор, в пропахших затхлостью и гнилью станционных бунгало люди, пожалуй, зарабатывают право на несколько раздражительный характер.

К десяти жара сделалась невыносимой. Лица и голые до локтей руки мужчин усеялись бисером пота. На спине мистера Макгрегора по шелку пиджака все шире расплывалось темное влажное пятно. От ярких лучей, все-таки проникавших сквозь оконные циновки, болели глаза и стучало в висках. С тоской думалось о предстоящем длинном безвкусном завтраке и ожидающих за ним долгих безжизненных часах. Поправив сползавшие на потной переносице очки, мистер Макгрегор поднялся.

– Увы, приходится прервать наш легкомысленный симпозиум. Как патриот Британии, я к завтраку должен быть дома. Кому-нибудь по пути? И мой автомобиль, и мой шофер к вашим услугам.

– О, благодарю, – откликнулась миссис Лакерстин. – Если можно, подвезите нас с Томом. Не представляю, как сейчас пешком!

Все встали. Вестфилд потянулся и широко зевнул.

– Двинулись? Надо идти – засыпаю. Целый день корпеть в конторе! Кучи, кучи драной писанины!

– Эй, не забудьте, теннис вечером, – напомнил Эллис. – Максвелл, черт ленивый, не вздумай опять смыться. Чтобы ровно в полпятого сюда с ракеткой.

– *Après vous* – после вас, мадам, – галантно шаркнул в дверях мистер Макгрегор.

– Веди на бой, Макдуф! – пробасил, выходя, Вестфилд.

Навстречу хлынула сверкающая белизна. От земли катил жар, как из духовки. Ни один лепесток не шевелился в пестрой гуще свирепо полыхающих цветов. Свет изнурял, пронизывая тело до костей. Веяло какой-то жутью – жутковато было сознавать, что эта глянцевое голубое

небо тянется, тянется над Бирмой, Индией, Сиамом, над Камбоджей, над Китаем, всюду сияя так же ярко и ровно. Наружные части автомобиля мистера Макгрегора раскались, не дотронуться. Начиналось то беспощадное время дня, когда, по выражению бирманцев, «нога тихая». Все живое оцепенело, способность двигаться сохранили только люди, колонны разогретых солнцем струящихся через дорожку муравьев и силуэты плавно качающихся в знойном небе бесхвостых грифов.

За воротами клуба Флори свернул налево и пошел вниз по тенистой тропе под кронами фиговых деревьев. Через сотню ярдов загудела музыка – возвращался в казармы отряд военной полиции, строй одетых в хаки долговязых индусов с идущим впереди, играющим на волынке юным гуркхом^[8]. Флори шел навестить доктора Верасвами. Жилище доктора, подгнившее длинное бунгало на сваях, располагалось в глубине обширного, довольно неряшливого сада, граничившего с садом Европейского клуба. Фасад был обращен не к дороге, а к стоящей на берегу реки больнице. Едва Флори открыл калитку, в доме раздался тревожный женский крик, застучала суетливая беготня. Явно не стоило смущать хозяйку. Флори обошел бунгало и позвал:

– Доктор! Вы еще не наклюкались? Войти можно?

Черно-белая фигурка выскочила на веранду, как черт из табакерки. Доктор подбежал к перилам, бурно восклицая:

– Можно? Немедленно! Ахх, мистер Флори, как я рад! Быстрее же, быстрее! Что желаете? Есть виски, вермут, пиво и другие европейские напитки. Ахх, дорогой друг, как я жду прекрасной культурной беседы!

Темнокожий курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами, доктор носил очки в стальной оправе и был одет в мешковатый полотняный костюм, мятые брюки которого гармошкой свисали на грубые черные башмаки. Говорил он торопливо, возбужденно и слегка шепеляво. Пока Флори поднимался, доктор засеменил в дальний угол и начал хлопотливо вытаскивать из цинкового ящика со льдом бутылки всякого питья. Благодаря развешенным под карнизом корзинам с папоротником веранда напоминала сумрачный грот позади солнечного водопада. Кроме тростниковых, изготовлявшихся в тюрьме, шезлонгов здесь еще стоял книжный шкаф, набитый не слишком увлекательной литературой – главным образом, мудрейшие размышления карлейлей-эмерсонов-стивенсонов. Доктор, большой любитель чтения, особенно ценил в книгах то, что именовалось у него «нравственным смыслом».

– Ну, доктор, – сказал Флори (хозяин тем временем усадил его в шезлонг, обеспечив комфортную близость пива и сигарет). – Ну, доктор, как там наша старушенция Империя? По-прежнему плоха?

– Ой, мистер Флори, все хуже и хуже! Опасные осложнения, ахха. Заражение крови, заворот кишок и паралич центральной нервной системы.

Ой, боюсь, нужно звать специалистов!

Шутка насчет дряхлой пациентки Британской империи обыгрывалась уже второй год, но доктор не уставал ею наслаждаться.

– Эх, – вздохнул Флори, растягиваясь в шезлонге, – хорошо тут у вас. Сбегаю к вам, как пуританский старшина в кабак со шлюхами. Хоть отдохнуть от них, – пренебрежительно мотнул он головой в сторону клуба, – милых моих приятелей, благородных белых пакка-сахибов^[9], рыцарей *sans peur et sans reproche* – без страха и упрека на страже и во славу гордой Британии! Просто счастье – глотнуть воздуха после всей этой вонищи.

– Нет-нет, пожалуйста, не надо! Не надо так говорить о достойных английских джентльменах.

– Вам, доктор не приходится часами слушать достойных джентльменов. Я все утро терпел Эллиса с его «негритосами», Вестфилда с его фиглярством, Макгрегора с его изречениями и грустью о старинной порке на конюшне. Но уж как дошло до туземного сержанта, старого честного служаки, знающего, что в Индии без британцев «не останется ни рупий, ни девственниц», – баста! Не вынес, пора служаке в запас, полвека мелет одно и то же.

Как всегда при нападках Флори на членов клуба, толстяк доктор волновался, ерзая, переминаясь, нервно жестикулируя. Подыскивая нужное возражение, он наконец ухватил его в воздухе щепоткой смуглых пальцев:

– Пожалуйста, мистер Флори! Зачем всех называть пакка-сахибами? Народ героев, соль земли. Вы посмотрите на деяния строителей Империи, вспомните Роберта Клайва, Уоррена Гастингса, Джеймса Дальхузи, Джорджа Керзона – великие личности! Словами вашего бессмертного Шекспира, «подобных нам уж больше не увидеть».

– Так, а вам хочется еще подобных? Мне нет.

– И как прекрасен сам тип – английский джентльмен! Изумительная терпимость! Традиция единства и сплоченности! Даже те, чьи высокомерные манеры не очень приятны (у части англичан порой действительно заметен этот недостаток), намного достойнее нас, людей Востока. Стиль поведения грубоватый, но сердца золотые.

– Может, позолоченные? Всюду изображать из себя дружных английских парней, то бишь дружно выпивать, взаимно симпатизируя в духе скорпионов. Нашу сплоченность сурово диктует политический расчет, а выпивка – главная смазка механизма, без нее мы через неделю взбесились бы и перебили друг друга. Отличный сюжет для ваших моралистов – пьянка как фундамент Империи.

Доктор покачал головой.

– Не знаю, мистер Флори, откуда у вас такой цинизм. Не подобает вам! Джентльмен ваших дарований, вашей души, а говорит, словно какой-нибудь мятежник в «Сынах Бирмы»!

– Мятежник? – повторил Флори. – О нет, я вовсе не хочу, чтобы бирманцы нас выставили вон. Господи упаси! Мне тут, как прочим нашим, нужно деньги зарабатывать. Я против одного – этого вздора насчет бремени белого человека. Непременно строить из себя великодушных спасителей мира. Тоска! Даже чертовы дураки в клубе были бы сносной компанией, если бы все мы не жили в сплошном вранье.

– Но друг мой, разве и вы?..

– И я, конечно. Мы сюда заявили не поднимать культуру бедных братьев, а грабить их. Вообще-то понятное людское вранье, но отравляет оно так, как вам не снилось. От постоянной своей подлости маешься, вечно ищешь оправданий. Половина наших безобразий у туземцев именно из-за этого. Нас еще можно было бы терпеть, честно признай мы себя пошлыми ворами, которые без всякого бремени набежали просто хапать.

Доктор весело щелкнул пальцами.

– Слабость вашего аргумента, друг мой, – сказал он, сияя от собственной ироничности, – очевидная его слабость в том, что лично вы не вор.

– Ну-ну, дорогой доктор!

Флори выпрямился в шезлонге. Перемена позы была вызвана как невыносимым зудом на вспотевшей, изъеденной тропиками спине, так и пиком их несколько странных полемик. Дискуссий шиворот-навыворот, где англичанин всячески язвил Британию, а индус с фанатичной преданностью защищал. Никакие щелчки и уколы британцев не могли поколебать восторг доктора перед Англией. Он готов был пылко, совершенно искренне подтвердить, что сам принадлежит к худшему, угасающему племени. Его вера в британское правосудие не слабела даже тогда, когда он возвращался после проведенных в тюрьме под его наблюдением телесных наказаний или казней, – возвращался, напившись, с помертвевшим серым лицом. Бунтарские речи Флори потрясали и ужасали его, сопровождаясь, впрочем, некой сладкой дрожью, как у праведника при чтении богохульных заклинаний.

– Дорогой доктор, а в чем же здесь наши цели кроме воровства? Ведь все столь очевидно. Чиновник держит бирманца за горло, пока английский бизнесмен обшаривает у того карманы. Вы полагаете, моя, допустим, фирма могла бы получить контракт на вывоз леса, не будь в стране

британского правления? Или другие лесные, нефтяные компании, владельцы шахт и плантаций? Как, не имея за спиной своих, Рисовый синдикат драл бы три шкуры с нищих местных крестьян? Империя – просто способ обеспечить торговую монополию английским, точнее еврейско-шотландским, бандам.

– Друг мой, мне больно это слушать. Вы говорите, что пришли ради коммерции? И очень хорошо. Разве сумели бы бирманцы самостоятельно наладить дело? Построить порты, пароходы, железные дороги? Они беспомощны без вас. Что бы произошло со здешними лесами, которые вы бережно охраняете? Лес был бы целиком продан японцам, то есть вырублен, дотла уничтожен. Ваши бизнесмены развивают все местные ресурсы, ваши чиновники, служа общественному долгу, учат цивилизации, поднимают наш уровень – образец гуманной самоотдачи.

– Чушь, доктор! Мы учим здешних мальчишек гонять в футбол и хлестать виски, но не особо велики сокровища. Заметьте, наши школы фабрикуют дешевых клерков, но действительно нужного ремесла мы не даем – страшимся конкуренции. Кое-какие местные отрасли даже исчезли. Где теперь, например, знаменитый индийский муслин? Лет семьдесят назад индийцы строили, снаряжали большие морские суда, а сейчас и рыбацьи лодки делать разучились. В 18 веке жители Индии отливали пушки вполне европейского стандарта, а сейчас вряд ли сыщется местный умелец, способный изготовить медную гильзу. Нет, из восточных народов шли вперед лишь независимые. Оставлю в стороне Японию, но вот Сиам...

Доктор замахал руками. Пример с Сиамом ему не нравился и он всегда прерывал спор на этом месте (течение диалогов не менялось, повторяясь почти слово в слово).

– Друг мой, друг мой, вы забываете о восточном характере! Как развивать нас, апатичных и суеверных? По крайней мере, вы принесли сюда закон. Незыблемое правосудие, британский великий мир народов!

– Не мир, а мор народов, так честнее. И если мир, то для кого? Для судейских либо процентчиков. Конечно, в наших интересах не допускать тут распрей, но к чему сводится этот порядок? Больше банков, больше тюрем – вот и все.

– Чудовищное искажение! – вскричал доктор. – А разве тюрьмы не нужны и разве ничего кроме тюрем? Представьте Бирму в дни Тхибава^[10] – грязь, пытки, крошечное невежество. И теперь оглянитесь, просто посмотрите хотя бы с этой веранды – больница, а там школа, а чуть дальше полицейский пост. Это же колоссальный рывок вперед!

– Не отрицаю, – сказал Флори, – модернизация полным ходом. Само

собой. Мы действуем и, разумеется, мы преуспеем в разрушении старой здешней культуры. Но никого мы не цивилизуем, только слегка наводим лоск, предполагая повсеместно внедрить граммофоны и фетровые шляпы. Думаю, лет через двести все это, – он кивнул вдаль, – исчезнет, не останется ни лесов, ни деревень, ни пагод. Вместо того через каждые полсотни ярдов будут стоять нарядные чистые домики, по всем долинам и холмам домик за домиком, и в каждом граммофон, и отовсюду один мотивчик. Леса сведут, размолотят на целлюлозу для выпуска многотиражных «Всемирных новостей» или распилят на доски для граммофонных ящиков. Хотя деревья умеют мстить, как утверждает старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?

– Ахх, к сожалению, не читал, мистер Флори. По мнению Бернарда Шоу, это величайший и окрыляющий душу мудрец. Без сомнения, замечательный писатель. Но, друг мой, почему-то от вашего взгляда ускользает, что даже мизерные приметы вашей цивилизации для нас большой прогресс. Граммофоны и «Всемирные новости» гораздо лучше ужасающей восточной лени. Самые рядовые британцы видятся мне некими... некими... – ища сравнения, доктор, вероятно, подыскал его в рассуждениях Стивенсона, – некими факельщиками, ведущими по тропе культуры.

– Вот как? А я вижу очень проворных, гигиеничных и самодовольных вшей, – сказал Флори и с легким вздохом, ибо доктор был не силен насчет аллюзий, пояснил: – Паразитов, ползающих вокруг света и называющих прогрессом постройку тюрем.

– Друг мой, вы положительно сосредоточились на тюрьмах! Обратите внимание на другие свершения соотечественников – англичане пролагают дороги и орошают пустыни, возводят школы и побеждают голод, самоотверженно воюют с чумой, холерой, оспой, венерическими болезнями...

– Которые сами и завезли, – вставил Флори.

– Нет, сэр! – возразил доктор, спеша воздать должное своей родине, – Ошибаетесь, венерические болезни в Бирму завезены из Индии. Индийцы заражают – британцы лечат. Вот ответ на весь ваш мятежный пессимизм.

– Ладно, доктор, нам не прийти к согласию. Вы в восхищении от прогрессивных штучек, а для меня тут маловато прелести. Пожалуй, Бирма времен Тхибава больше пришлась бы мне по вкусу. И повторюсь: щедроты британской культуры не что иное, как грабеж в крупных масштабах. Без прибыли мы живо всех бы бросили.

– Напрасно, друг мой, пугать меня, я знаю чистоту вашей души, вы так

не думаете. Будь вы действительно убеждены в этом, вместо бесед со мной, вы бы разбрасывали с крыш листовки и призывали толпу к бунту.

– Куда уж мне, дорогой доктор. Я вроде беса из «Потерянного рая» лишь «тешусь, нашептывая гадости»^[11]. В этой стране либо живи пакка-сахибом, либо умри. За все пятнадцать лет в Бирме я только с вами разговаривал откровенно. Мои дерзкие речи у вас – предохранительный клапан. Пар выпускаю, такая тайная черная месса, если вы меня понимаете.

Рядом раздался протяжный горестный вопль. На солнцепеке у веранды стоял индус Мату, трясущийся, иссохший, почти голый, до крайности напоминавший саранчу дурван (блаженный нищий аскет), который караулил европейскую церковь. Служба эта давала ему восемнадцать рупий в месяц и означала проживание подле храма в лачуге из расплюснутых жестянок, откуда он время от времени, завидев белого, выскакивал с низким поклоном и невнятным криком «ала-бала!». Сейчас Мату жалобно глядел снизу, одной корявой бурой рукой потирая голый живот, другой рукой изображая запихивание пищи в рот. Мягкосердечный доктор – любимый объект местных попрошаек – вытащил из кармана и кинул через перила четыре аны^[12].

– Наглядное вырождение Востока, – сказал доктор, кивнув в сторону скрючившегося, признательно заскулившего Мату. – Обратите внимание на хилость: икры ног тоньше европейских запястий. Отметьте жалкую угодливость и совершенно дебильную по европейским меркам тупость – на мой вопрос о его возрасте старик ответил «вроде как десять лет, сахиб». Можно ли притворяться, мистер Флори, что вы не ощущаете себя существом более высокой породы?

– Худо горемыке, не озарил его свет прогресса. На, Мату, – Флори кинул еще одну монетку, – иди, выпей и вырождайся, как умеешь. Сроки всеобщего блаженства, судя по всему, откладываются.

– Ой, мистер Флори, иногда я подозреваю, что вы меня, как это говорится? дурачите. Английское чувство юмора, эххх? На Востоке совсем нет подобного чувства.

– Счастливики. Погибель наша, этот английский юмор.

Бормоча что-то благодарственное, Мату поковылял со двора. Флори заложил руки за голову и потянулся.

– Надо идти, пока чертово солнце не поднялось слишком высоко. Чуют мои кости, жара в этом году будет адская. Да, доктор, мы все спорили, я даже не спросил вас о новостях. Я ведь только вчера из джунглей и через

пару дней обратно. Какие происшествия в Кьяктаде? Скандалы?

Доктор сразу перестал улыбаться. Он снял очки, без которых сделался похожим на черного спаниеля с влажными карими глазами и, глядя вдаль, заговорил гораздо тише, без прежней решительности.

– Сказу вам, друг мой, затеваются самые неприятные дела. Вы, наверное, будете смеяться, признаков пока никаких, но я в беде. Вернее, мне грозят большие беды. Уши европейцев ничего не услышат, но там, – он махнул рукой в направлении базара, – плетутся страшные козни, поверьте, страшные.

– Может, все-таки поясните?

– Ахх, строится интрига, ужасная, с целью меня опорочить и уничтожить. Вам, англичанину, такие вещи непонятны – я навлек вражду некого У По Кина, местного судьи. Чрезвычайно опасный враг, несущий тысячи несчастий.

– У По Кин? Кто такой?

– Огромный, очень толстый, очень зубастый человек, его дом недалеко отсюда.

– А, тот жирный мерзавец? Знаю.

– Нет-нет! – с горячностью воскликнул доктор. – Не знаете, друг мой! Английский джентльмен не может знать подобную натуру! У По Кин больше чем мерзавец, он... трудно выразить, слова меня подводят. Это крокодил в человеческом обличье – лютый и кровожадный крокодил. Все его злодеяния! Его разбои, зверства! Он портил девушек, насилая их на глазах матерей. Английскому джентльмену не представить такую низость. И вот этот злодей поклялся меня уничтожить.

– Наслышан я о нем. Видимо, превосходный экземпляр местного законника. Бирманцы говорили, что, занимаясь рекрутством, этот распутник набрал целый полк из своих внебрачных сыновей. Правда?

– Вряд ли, он не настолько стар, но подлость его несомненна. А теперь он поставил целью сгубить меня, потому что я слишком много знаю и вообще ненавистен ему, как любая честная личность. Действовать будет излюбленным приемом всех негодяев – станет распространять обо мне самую скверную, самую жуткую клевету. Он уже начал.

– Кто ж поверит жирному борову? Какой-то мелкой сошке в сравнении с вашим положением.

– Ахх, мистер Флори, вам не понять восточного коварства. У По Кин сокрушал чиновников и покрупнее. Найдет способ вызвать доверие. Именно поэтому... ахх, непростая, непростая ситуация.

Доктор отвернулся и начал ходить по веранде, протирая очки носовым

платком. Он явно чего-то не договаривал, стеснялся. Видя его таким встревоженным, Флори открыл было рот предложить свою помощь, но промолчал, ибо хорошо знал бесполезность вмешательства в конфликты восточных людей. Белому никогда не добраться тут до сути, всегда останется нечто неясное, козни под кознями, интриги внутри интриг. Кроме того, одна из главных заповедей пакка-сахибов – держаться в стороне от «туземных свар». Он неуверенно проговорил:

– А что за ситуация?

– Дело в том, если бы... ахх, друг мой, я боюсь снова вызвать ваш смех. Если бы только я мог стать членом вашего Европейского клуба! О! Как бы все для меня изменилось!

– Клуб? Зачем? Чем это поможет?

– Друг мой, в такого рода обстоятельствах важнее всего престиж! У По Кин не нападет открыто, он пустит сплетни, слухи, а поверят или нет всецело будет зависеть от степени моей близости европейцам. Так уж сложилось в Индии. Нас уважают и мы поднимаемся, не уважают – падаем. Рукопожатие и дружеский кивок тут значат больше сотен официальных наград. И вы не представляете, как ценно состоять в клубе, считаться как бы европейцем – недостижимым. Личность члена клуба священна.

Собравшийся уходить Флори стоял и смотрел на дорогу. Его всегда переполняло стыдом, если в беседах с доктором мелькал болезненный вопрос о цвете кожи. Хотя расизм в Индии кажется нормальным, естественным как воздух, неприятно ощущать унижение приятеля.

– Вас могут выбрать уже на следующем собрании, – сказал Флори. – Не поручусь, что выберут, однако не исключено.

– Надеюсь, мистер Флори, мои слова не прозвучали просьбой мне посодействовать? Ради бога! Возможности ваши ограничены, я знаю, я всего лишь отметил, что прием в клуб надежное средство защиты...

Флори нахлобучил панаму и легонько похлопал стеком уснувшую под шезлонгом Фло. Ему было очень не по себе. Он понимал – хвати у него духа на пару схваток с Эллисом, доктора Верасвами наверняка примут. И доктор его друг, вернейший, едва ли не единственный. Сколько часов они провели в разговорах, доктор бывал у него и очень хотел представить Флори своей супруге (благочестивая индуска с ужасом отказалась). Они вместе ездили на охоту – обвешенный боевым снаряжением доктор, пыхтя, карабкался по скользким, засыпанным листвой бамбука склонам, и весело сверкало ни разу не пущенное в ход оружие. Честь требует, совесть взывает поддержать доктора. Но доктор прямо никогда не попросит, а сам он не способен отстаивать его. Нет, не способен! И думать нечего. Флори сказал:

– По правде говоря, вопрос сегодня поднимался, и скотина Эллис, естественно, побрызгал слюной насчет «черномазых», когда Макгрегор предложил нам принять кого-нибудь из азиатов. Полагаю, пришло распоряжение.

– Да, я слышал. Подобные вещи тут же становятся известны. Это и навело меня на мысль.

– Решающим, видимо, будет июньское собрание. Я, разумеется, проголосую «за», но сделать больше, к сожалению, не сумею, попросту не в моих силах. По-моему, тут все зависит от Макгрегора. Вполне вероятно, вас выберут, хотя натужно, из-под палки. Они совсем свихнулись на «чистоте» их клуба.

– Конечно, конечно, друг мой! Пожалуйста, не беспокойтесь. Еще вам не хватало из-за меня испортить отношения с братьями по крови. Умоляю вас, подальше от неприятностей! Сам факт вашей дружбы со мной невероятно мне помогает. Престиж, он как термометр, и с каждым вашим визитом ко мне ртутный столбик подрастает еще на полградуса.

– Что ж, будем стараться предельно раскалить его. Боюсь, кроме этого немногим смогу помочь.

– Но это много, поистине много, друг мой! И вот еще, только не смейтесь, вам ведь тоже надо остерегаться. Рядом крокодил! Узнает, что вы за меня, – мгновенно нацелится и на вас.

– Ясно, доктор. Буду остерегаться чудища. Хотя чем, собственно, ваш крокодил способен мне навредить?

– В любом случае, он попытается. Я знаю, его тактикой будет убрать моих друзей, и он посмеет оклеветать даже вас.

– Меня? Ну, дудки! Не дотянется плебей до римского патриция. Я ж как никак англичанин!

– Но все же берегитесь, друг мой. Не стоит его недооценивать. Крокодилы всегда... – доктор пощелкал пальцами, образные выражения у него частенько путались, – всегда бьют по больным местам!

– О-о, доктор, неужели крокодилы столь чутко различают наши слабости?

Оба рассмеялись. Теплота отношений позволяла им вместе посмеяться над забавной английской фразой доктора. Возможно, в глубине души доктор сейчас был несколько разочарован тем, что Флори не ринулся спасать его, однако он скорее бы умер, нежели обнаружил это. А Флори более всего мечтал оставить крайне смущающий сюжет.

– Ладно, действительно пора идти. Счастливо оставаться, доктор, на случай, если не увижу вас до отъезда. Надеюсь, выборы пройдут

нормально. Макгрегор – неплохой старый пень. Осмелюсь предположить, он дожмет их с вашим приемом.

– Будем надеяться, будем надеяться. Чтобы я смог открыто бросить вызов всем у по кинам! До свидания, друг мой, до скорого свидания!

Флори поправил панаму и пошел через залитый солнцем плац домой, к завтраку, для которого утро с курежкой, выпивкой и тяжким разговором не оставило никакого аппетита.

Флори спал, раскинувшись в одних легких сатиновых штанах на своей влажной от пота постели. Очередной абсолютно свободный день. После каждых трех недель на лесных стоянках, денька четыре он проводил в Кьяктаде, где главным образом бездельничал, поскольку конторских забот имелось очень немного.

Спальня была довольно просторной, со сквозными входными проемами и не зашитой решеткой потолочных балок, пристанищем хлопотливых воробьев. Скучная обстановка включала кровать с подпернутой балдахином москитной сеткой, плетеный стул, плетеный стол, зеркальце и грубо сколоченные полки с рядами книг, переплеты которых в тропиках покрылись сизым налетом плесени. Распластавшись на стене, тукту (ящерка) застыла, будто геральдический дракон. Свет за верандой густо лился потоком белого сверкающего масла. Монотонные стоны голубей в чаще бамбука удивительно сливались со знойной сонной духотой – дрема не колыбельного напева, а паров хлороформа.

Ярдов за двести, возле бунгало мистера Макгрегора, исполнявший обязанности живых часов дурван четыре раза ударил по куску рельса. Разбуженный этим сигналом Ко Сла, слуга Флори, направился в сарайчик, раздул угли и вскипятит воду, после чего, обрядившись в розовый гонгбонг с муслиновым инги, понес чайный поднос хозяину.

Ко Сла (полное его имя было Моонг Сан Хла), типичный, низкорослый и коренастый, местный крестьянин, отличался очень темной кожей, выражением постоянной озабоченности и довольно редким для безбородых бирманских лиц украшением – хвостиками свисавших по углам рта усов. У Флори он служил со дня приезда того в Бирму. Они были ровесниками, разница в возрасте меньше месяца, и вместе, как мальчишки, бегали пострелять или поплавать, вдвоем сидели в мачанах (засадах на деревьях), поджидая ни разу не появившихся тигров, дружно делили тяготы лесных командировок. Помимо этого, Ко Сла подыскивал Флори подружек, занимал для него деньги у китайских ростовщиков, укладывал его, пьяного, в постель, выхаживал во время приступов лихорадки. В глазах Ко Сла неженатый Флори оставался юнцом, тогда как сам он успел жениться, народить пятерых детей и – добровольно удвоив муки супружества – завести вторую жену. Как полагается слуге холостяка, Ко Сла был ленив и неряшлив, зато предан беспредельно. Он никогда бы никому другому не

позволил прислуживать Флори за столом, или нести его ружье, или придерживать ему оседланного пони, а если дорогу преграждал ручей, непременно перетаскивал господина на собственной спине. К Флори он относился с жалостью, и оттого, что считал его наивным, беспомощным ребенком, и, особенно, из-за зловещего, как ему думалось, родимого пятна. Осторожно опустив поднос на низкий столик, Ко Сла пощекотал спящему пятку (единственный безопасный способ будить хозяина). Чертыхнувшись, Флори перевернулся и зарылся лицом в подушку.

– Четыре часа, наисвятейший. Я давать две чашки, тут женщина.

Женщиной у Ко Сла именовалась любовница Флори Ма Хла Мэй. Всегда лишь «женщиной» не по причине неодобрения любовницы как таковой, но ввиду ревности к ее влиянию в доме.

– Наисвятейший идти вечером играть в тиннис? – спросил Ко Сла.

– Нет, что-то жарковато, – ответил Флори, будто находился в Брайтоне. – Есть не хочу, убери эту дрянь. Дай мне виски.

Не умеющий правильно говорить по-английски, Ко Сла однако понимал язык прекрасно. Бутылку он принес, а вместе с ней ракетку, которую демонстративно прислонил к стене. Теннис в его сознании являлся священным ритуалом белых, и уклонение хозяина от обряда ему не нравилось.

Флори брезгливо отодвинул бутерброд, но, подлив в чашку виски, выпил чая и почувствовал себя лучше. После сна, длившегося от полудня, все тело ныло, во рту отдавало свинцовой копотью. Трапезы давно перестали приносить удовольствие. Еда в Бирме отвратительна – испеченный на пальмовой закваске хлеб вкуса пресной резиновой лепешки, масло лишь из консервных банок, того же сорта порошковое молоко, из которого получается водянистая серая жижа.

Едва Ко Сла вышел, послышался высокий гортанный женский голос: «Мой господин не спит?».

– Входи, – довольно раздраженно ответил Флори.

Вошла, сняв у порога красные лакированные сандалии, Ма Хла Мэй. В виде особой привилегии ей позволялось заходить на чаепития, но присутствие на других трапезах было столь же запретно, как ношение обуви в присутствии господина.

Лет чуть более двадцати и ростом метра полтора, Ма Хла Мэй была в светло-голубом вышитом лонги из китайского сатина и белоснежном инги, на груди цепочки золотых медальонов, туго закрученный, точно эбеновый, валик блестящих черных волос украшали цветки жасмина. Со своей точеной фигуркой, медным овальным личиком и узкими глазами, она

казалась диковинной, но очень красивой куклой. Комнату наполнил аромат сандалового дерева и кокосового масла.

Ма Хла Мэй села на край постели, крепко прильнула к Флори и, как принято у бирманцев, потерлась плосковатым носом о его щеку.

– Зачем мой господин утром не звал меня?

– Спал. Слишком жарко для таких штучек.

– Вам лучше спать без Ма Хла Мэй? Ах, это значит – я некрасивая? Я некрасивая, мой господин?

– Уйди, – отпихивая ее, сказал Флори. – Сейчас я тебя не хочу.

– Тогда пусть господин хотя бы потрогает меня ртом, как у белых! – (В бирманском обиходе не существует ни слова, ни понятия «поцелуй»).

– На, получи и оставь меня. Принеси-ка сигарет.

– Почему господин больше не хочет делать со мной любовь? Ах, два года назад он был другой! Любил меня, дарил золото, возил разный красивый шелк из Мандалая. А сейчас вот, – она вытянула тоненькую ручку в муслиновом рукаве, – ничего нет, я все мои тридцать браслетов дала в заклад.

– Я виноват, что ты их заложила?

– Два года назад господин бы их выкупил! Ах, он больше совсем не любит Ма Хла Мэй!

Она обняла Флори и, наученная им европейской манере, поцеловала его. Пахнуло смесью сандалового дерева, чеснока, кокосового масла и жасмина. Запахом, от которого у Флори ломило зубы. Отстранившись, придерживая ее голову на подушке, он стал разглядывать странное юное лицо с высокими скулами, растянутыми веками и маленьким, изящно вычерченным ртом. Зубки у нее были, как у котенка. Пару лет назад он, сторговавшись с родителями девушки, купил ее за триста рупий. Флори погладил шею, похожую на стройный гладкий стебель.

– Ты липнешь ко мне, потому что я белый и богатый?

– Нет, я люблю, я очень-очень люблю господина. Зачем так говорить? Разве я не была всегда верная?

– У тебя есть любовник бирманец.

– Ух! – Ма Хла Мэй изобразила гадливую дрожь. – Терпеть, как трогают ужасные темные руки? Если бирманец меня тронет, я умру.

– Лгунья!

Он положил руку ей на грудь. Вообще-то Ма Хла Мэй это корбило, так как напоминало о наличии грудей, существование которых для бирманок несовместимо с идеалом красоты. Однако она лежала, предоставив Флори свободу действий, отзываясь весьма пассивно, слегка

улыбаясь сытой кошкой, позволяющей себя гладить. Ласки Флори не значили ничего (истинным ее возлюбленным был Ба Пи, младший брат Ко Сла), но пренебрежение господина уязвляло. Подчас она даже подмешивала ему в пищу приворотные зелья. Нравилось ей вести жизнь праздной наложницы. Нравилось навещать свою деревню, похваляясь нарядами и положением «бо-кадау», жены белого мужчины, ибо она сумела убедить всех, начиная с себя, что действительно являлась супругой Флори.

Закончив любовный труд, обессиленный Флори молча отвернулся, прижал ладонь к родимому пятну. Чувство стыда сразу напоминало об отметине. Противно было дышать во влажную подушку, пропахшую кокосовым маслом. Все тот же душный зной, все те же заунывные голубиные стоны. Голая Ма Хла Мэй, опершись на локоть, улыбаясь, обмахивала Флори плетеным веером.

Затем она встала, оделась, закурила сигарету и, вернувшись, стала поглаживать плечи Флори. Белизна кожи завораживала ее странным видом и тайным значением власти. Флори дернулся, сейчас подруга его бесила, хотелось лишь быстрее ее спровадить.

– Уходи, – сказал он.

Ма Хла Мэй попыталась кокетливо вложить свою сигарету ему в губы.

– Зачем господин всегда сердитый, когда сделал со мной любовь?

– Уйди, – повторил он.

Ма Хла Мэй продолжала гладить его плечи. Мудрости оставлять Флори в определенные моменты она не набралась, считая интимную близость актом некоего женского колдовства, раз от разу все более превращающего мужчин в покорных слабоумных рабов. С каждым объятием, верилось ей, Флори слабеет, а чары набирают силу. Она принялась теревить, обнимать его, упрекая в холодности, стараясь вновь разжечь, пытаясь поцеловать спрятанное лицо.

– Иди-иди! – с досадой бросил Флори. – Вон мои шорты, там в кармане деньги, возьми пять рупий и иди.

Спрятав за пазухой пять рупий, Ма Хла Мэй все же не ушла. Склонясь над Флори, тормозила его, пока он, вконец разозлившись, не вскочил.

– Иди отсюда! Сказано, уйди! Осточертела!

– Хорошо разве говорить эти слова? Как будто с проституткой.

– Такая ты и есть. Пошла вон! – крикнул он, вытолкнув ее и швырнув вслед сандалии. Их стычки часто завершались подобным образом.

Флори зевнул, раздумывая. Пойти, что ли, все же на теннис? Но тогда бриться, а для таких усилий понадобится опрокинуть еще пару стаканчиков. Он сделал было вялый шаг к зеркалу, дабы обследовать

щетину, но под угрозой увидеть страшную измятую физиономию остановился. Несколько секунд, чувствуя слабость в каждой мышце, он созерцал ползущую под потолком, крадущуюся к мотыльку тукту. Сгоревшая сигарета Ма Хла Мэй едко чадила. Флори достал с полки книгу, открыл и, содрогнувшись, кинул в угол. Сил не было даже читать. О боже, боже, куда деться, как убить проклятый вечер?

Шлепая лапами и махая хвостом, подбежала зовущая на прогулку Фло. Флори хмуро прошел в смежную маленькую ванную с каменным полом, надел шорты, рубашку. Требовалось непременно проделать до заката некую процедуру. В Индии, вообще говоря, полезно под вечер покрыться грязным потом, мерзким как тысячи грехов. С приходом завершающих бесконечный пустой день сумерек настигает такая скука, что ничем: ни чтением, ни молитвой, ни болтовней, ни выпивкой не изгнать тоски и апатии – вытянуть их способен только пот.

Из дома Флори пошел к джунглям. Сначала через заросли низкого кустарника с редкими стволами диких манго, усыпанных смолистыми плодами не крупнее сливы, затем лесом. Безжизненные в это время года джунгли обступали дорогу чащей пыльных деревьев с тусклой пожухшей листвой. Не видно было никаких птиц, кроме неуклюже прыгавших по кустам бурых растрепанных созданий, похожих на обнищавших и опустившихся дроздов. Еще какая-то невидимая птица издали, словно хохочущее эхо, одиноко выкрикивала «ах-ха-ха! ах-ха-ха!». От палых листьев шел ядовитый хмельной запах. Было по-прежнему жарко, хотя солнце утратило дневную яркость и косые лучи пожелтели.

Мили через две дорога вывела к речному броду. Вблизи воды лес стал выше и зеленее. У края берега торчал огромный трухлявый древесный остров, густо оплетенный гирляндами орхидей, прибрежные кусты лимонника источали резкий цитрусовый аромат. Быстро шагая в намокшей рубашке, с лицом, залитым едким потом, Флори выпаривал из себя хандру. Добавила радости и неизменно ласкавшая глаз прозрачность реки – редчайшее явление на здешних илистых землях. Ступая по камням, Флори перешел поток, прошлепавшая вслед за ним Фло кинулась вперед знакомой тропой, пробитой в зарослях ходившим к водопою скотом и крайне редко посещавшейся людьми. Оканчивалась тропа расположенной ярдов на пятьдесят выше брода мелкой заводью. Здесь рос мощнейший тутовый баньян, великан со стволом в шесть футов толщиной и целой рощей воздушных корней, свисавших точно тросы исполинского корабля. Из-под основания дерева бил прозрачный зеленоватый ключ, пышная крона накрывала заводь сплошным лиственным куполом.

Скинув одежду, Флори вошел в воду, которая была чуть прохладнее воздуха и доходила ему, присевшему, до шеи. Стайки махси, рыбешек не крупней сардинок, окружили его, плотоядно тычась в тело. Фло тоже бултыхнулась и бесшумно, как выдра, поплыла, перебирая перепончатыми лапами. Место ей было хорошо известно, они с хозяином нередко сюда наведывались. Гуща ветвей вверху кипела и клочкотала: тучи зеленых голубей клевали ягоды. Флори пристально всматривался, пытаясь разглядеть птиц, но они совершенно сливались с листьями, и наполненное ими трепещущее дерево казалось обиталищем птичьих призраков. Верная своей природе Фло рычала на кого-то, затаившегося под корнями. Один из голубей, спорхнув вниз, сел на ветку у самой воды – хрупкий, гораздо меньше обычного ручного голубя, нежная как бархат нефритовая спинка, шейка и грудка в радужных переливах, лапки из розового воска.

Покачиваясь, голубок раздувал перышки на груди и приглаживал их коралловым клювом. Сердце сдавило болью – одиночество, вечное одиночество! Часто в лесном уединении Флори встречалось что-то – птица, дерево, цветок, – что могло бы быть несказанно прекрасным, если бы рядом была близкая душа. Красота бессмысленна, если не с кем ею поделиться. Чуткого друга! Ну хоть одного, хоть одного-единственного! Голубок, вдруг заметив человека, тут же взвился, умчался, треща крыльями. Нечасто вблизи увидишь зеленых голубей. Эти птички летают высоко, живут на верхушках деревьев, к земле спускаются разве что глотнуть воды. Подстреленные, но не убитые наповал, они, вцепившись в ветки, держатся до последнего вздоха и падают, когда нетерпеливых охотников давно уж нет.

Искушавшись, Флори вернулся к броду, но оттуда пошел не прямо к дому, а в обход, краем джунглей. Фло рыскала в кустах, повизгивая, если острые колючки цеплялись за мохнатые длинные уши; однажды ей повезло тут поднять зайца. Флори шел медленно, дымок из трубки вился ровной прямой струйкой. Блаженство после прогулки и родниковой заводи. Стало прохладнее, лишь под самыми густыми кронами обдавало еще таившейся жарой, свет перестал резать глаза. Невдалеке поскрипывали колеса деревенских телег.

Вскоре путники заблудились в лабиринте сухих деревьев, потом путь наглухо перекрыла гуща каких-то, похожих на гигантские комнатные аспидистры, жутких растений, каждый лист которых оканчивался тонкой плетью с шипами. В кустах уже, возвещая сумрак, загорелись изумрудные искры светлячков. Скрип колес раздавался где-то совсем рядом.

– Эй, сзя ги, сзя ги! – закричал Флори, придерживая за шею

норовившую убежать Фло.

– Ба ли-ди? – откликнулся голос бирманца. Глухой стук воловьих копыт замер.

– Прошу вас, пожалуйста сюда, добрейший и мудрейший! Мы заблудились, спасите, о великий строитель пагод!

Засвистел, рубя лианы, острый крестьянский дах, и сквозь джунгли пробился коренастый одноглазый старик, который вывел обратно к тропе. Флори уселся на тряскую, узкую и плоскую, телегу, старик взялся за вожжи, крикнул, погоняя волов, тыча им в основания хвостов короткой палкой, и скрипучая повозка двинулась. Бирманцы редко смазывают жиром оси колес, а если спросишь, почему так, сошлутся на бедность, однако главная причина в их вере, что скрип отгоняет злых духов.

Проехали мимо деревянной выбеленной пагоды, не выше человеческого роста и вполовину скрытой ползучей зеленью. Тропинка запетляла по деревне из пары десятков крытых соломой лачуг, над которыми вздымалось несколько бесплодных финиковых пальм. Султаны пальмовых верхушек торчали пучками перьев на боевых стрелах. Хохочущая желтокожая толстуха в туго затянутом подмышками лонги гонялась с бамбуковой палкой за бегавшей вокруг хижины и так же весело скалившейся собакой. Несмотря на название Ньянглбин («Четыре баньяна») никаких баньянов, давным-давно, видимо, вырубленных, поблизости не наблюдалось. Здешним ремеслом было изготовление телег, повсюду у домов лежали огромные, метра полтора в диаметре, колеса с грубо, но прочно вырезанными спицами.

Наградив возницу монеткой в четыре аны, Флори слез. Тут же, сердито фырча, повыскакивали из-под хижин пестрые дворняжки. Стайка голых ребятишек с выпученными животами и узелками стянутых на макушке волос обнаружила явное любопытство к белому человеку, хотя держалась все-таки поодаль. Вышел из дома пожилой, усохший как осенний бурый лист, староста. Возникла некоторая напряженность. Флори уселся на крыльце и снова раскурил трубку; его мучила жажда.

– Есть у тебя, тхаги-мин, – спросил он, – вода, которую можно пить?

Староста задумался, поскреб лодыжку левой ноги корявыми пальцами правой.

– Можешь ее пить – пить можно, не можешь – нельзя пить, тхэкин.

– О-о! Мудро.

Толстуха, что гонялась за собакой, принесла закопченный чайник и чашку без ручки, угостив Флори отдававшим дымком бледным зеленым чаем.

– Пора идти, тхаги-мин, спасибо за чай.

– Иди с богом, тхэкин.

Когда Флори вышел на плац, совсем стемнело. Дожидавшийся Ко Сла уже надел свежий инги, согрел две канистры воды для ванны, зажег лампы и разложил на кровати костюм с чистой рубашкой – намек на то, что Флори следует побриться, переодеться и после ужина идти в клуб. Порой Флори весь вечер оставался в сатиновых штанах, читал, валялся, и К° Сла осуждал такой разврат. Любое отступление господина от обычаев белых вызывало его крайнее неудовольствие. Тот факт, что дома хозяин сидел трезвым, а из клуба являлся вдрызг пьяным, ничего не менял, ибо пьянство входило в кодекс поведения белого человека.

– Женщина уходит на базар, – радостно сообщил Ко Сла, как всегда довольный отсутствием Ма Хла Мэй. – Ба Пи брал фонарь ее встречать.

– Ладно, – сказал Флори. («Пять рупий побежала тратить, все на игру просадит», – подумал он).

– Ванна готова, наисвятейший.

– Погоди, надо собаку привести в порядок. Неси гребень.

Сев на корточки, они вдвоем расчесали шелковую шкурку Фло, вычистили из-под когтей комки шерсти и, главное, тщательно вынули клещей. Обязательная ежевечерняя процедура. За день Фло успевала подцепить массу этих омерзительных серых тварей с булавочную головку, которые, впившись в тело, разбухали до размера горошины. Каждого извлеченного клеща Ко Сла клал на пол и усердно давил босой пяткой.

Затем Флори побрился, принял ванну, оделся и сел ужинать. Ко Сла встал за стулом, обмахивая господина веером. Середину стола он украсил вазой с алыми гибискусами. Кушанья отличалась претенциозностью и скверным вкусом. «Ученые» повара, потомки слуг, которых долго школили в Индии французы, способны из любых продуктов приготовить любое блюдо за исключением съедобного. После ужина Флори отправился в клуб сыграть партию в бридж и трижды хорошенько хлебнуть, соблюдая регламент большинства его вечеров в Кьяктаде.

Несмотря на изрядную дозу принятого спиртного, выспаться Флори не удалось. Обычно вой уличных псов начинался к полуночи, но тут целый день дрыхнувшие на жаре дворняги решили завести лунную серенаду пораньше. Одна из собак, невзлюбив дом Флори, регулярно являлась выть именно сюда. Усаживалась поблизости и каждые полминуты, как по секундомеру, издавала жуткий раздирающий вопль, причем это могло продолжаться и два, и три часа, до первых петушиных криков.

Флори ворочался, голова трещала. Какой-то болван изрек, что не любить животных невозможно, – стоило бы ему провести несколько ночей в Индии, вдосталь насладиться собачим воем. В конце концов, мучения Флори достигли предела. Он встал, выволок из-под кровати походный жестяной сундук, взял винтовку с парой патронов и вышел на веранду. При луне ясно различались и собака, и ружейная мушка. Прислонясь к столбу, он тщательно навел прицел и вздрогнул от грубого резкого толчка – у винтовки была слишком сильная отдача. Мимо. Дрожь в занывшем плече не унималась. Хладнокровно стрелять Флори не умел.

Теперь какой сон! Прихватив пиджак и сигареты, Флори стал прохаживаться по садовой дорожке между призрачно темневшими цветами. Было тепло, жужжащие москиты неотступно и плотоядно вились рядом. По плацу носились друг за другом собачьи тени. Слева зловеще белели плиты английских надгробий, чуть дальше бугрились следы старинных китайских могил. Склон славился привидениями, которые ночью не раз пугали возвращавшихся из клуба слуг.

«Шавка паршивая, поджавшая хвост шавка, – беспощадно (и, надо сказать, привычно) клеймил себя Флори. – Подлая, ленивая, блудливая, пьяная, вечно ноющая шавка. Это тупое, презираемое тобой дубье лучше тебя, любой из них получше. Они хоть просто идиоты. Не слабаки, не падаль лживая, а ты...»

Причина самобичевания была. Случилось кое-что; инцидент не из ряда вон, но пакость образцовая.

Когда Флори явился в клуб, там находились только Эллис и Максвелл (Лакерстин встречал на станции племянницу). Сели играть в «бридж на троих», общались довольно дружелюбно, когда вбежал на себя не похожий, красный от гнева Вестфилд, сжимавший в руке газетенку «Сыны Бирмы». Наглые враки о Макгрегоре дьявольски разозлили Вестфилда и Эллиса.

Они настолько разъярились, что Флори пришлось здорово постараться, дабы изобразить приличную степень негодования. Эллис минут десять без перерыва изрыгал проклятья, после чего причудливым мысленным виражом сделал вывод – за статьей стоит доктор Верасвами. И тут же придумал контрудар: они вывесят на доске общую декларацию с решительным отказом от предложения Макгрегора. Немедленно мелким четким почерком Эллиса было написано:

«Ввиду оскорбительной клеветы в адрес Представителя комиссара, мы, нижеподписавшиеся, считаем настоящий момент самым неподходящим для дебатов о том, чтобы в наш Европейский клуб мог баллотироваться черномазый... и т. п.».

Ввиду сомнений Вестфилда относительно термина «черномазый» к этому чуть заметно перечеркнутому слову сверху добавилось «абориген». Документ подписали Р. Вестфилд, П. Эллис, С. Максвелл и Д. Флори.

В восторге от своей идеи Эллис даже подобрел. Само заявление, конечно, лишь бумажка, зато новость мигом разнесется и уже завтра дойдет до Верасвами. Весь город будет знать, что для белых индийский доктор просто цветная шваль. Эллис ликовал. То и дело поглядывал на доску, восклицая: «Во по мозгам шарахнет докторишке?.. Узнает педик, какой он важный!.. Как еще-то ихнюю породу на место ткнешь?»

Итак, Флори подписался под коллективным пинком другу. Сподличал по той самой причине, по которой подличал многократно, – не хватило искорки мужества. Он мог, конечно, возразить, но протест означал бы разлад с компанией. Ох, только не разлад! Вражда, издевки!.. При одной мысли пятно на щеке стало пульсировать и горло сжало какой-то виноватой робостью. Ох, но не так! Не так же гнусно предать друга, хотя бы не у него за спиной...

Флори уже пятнадцать лет жил в Бирме, а Бирма научит не перечить общественному мнению. Но беда его родилась гораздо раньше, еще в материнском чреве, где случай наградила его сизой меткой во всю щеку. Последствия помнились хорошо. Вот он впервые в школе, ему девять лет, на него таращатся, через пару дней ребята кричат: «Эй ты, Пятнистый!». Кличка держалась до поры, когда школьный поэт (ныне известный критик, Флори встречал в газетах его довольно дельные статьи) сочинил:

Раскрасил рожу Флори странно –
Точь-в-точь как жопу обезьяню.

Флори незамедлительно переименовали в Обезьянью жопу. И потом. У элиты старшекласников по ночам практиковался «суд инквизиции»; любимой пыткой было держать кого-нибудь очень болезненным захватом (назывался он «Уганда-экстра»), в то время как палач хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками. Но Флори умудрился искупить грех Обезьянней жопы. Он умел притворяться и играть в футбол – первейшие для школьника таланты. К последнему семестру он уже оказался среди избранных, державших поэта приемом «Уганда-экстра», пока капитан футболистов снятой с ноги шиповкой отделявал слюня, пойманного за сочинением сонета. Это был важный этап.

Затем его воспитывали в третьесортном пансионе, убогом и насквозь фальшивом. Копируя стиль дорогих закрытых заведений, там имелись и аристократичный церковный тон, и крикет, и латынь, и школьный гимн «Жизнь это матч», где Бог уподоблялся главному рефери, но не имелось важнейшей ценности дорогих школ – подлинной культуры. Мальчики достигали поразительных успехов в невежестве. Никакими порками не удавалось впихнуть в них отчаянно нудный учебный хлам, а нищие, никудышные учителя не годились на роль мудрых и вдохновляющих наставников. Образование Флори завершил полуграмотным дикарем. В нем были некие способности (он знал, какие), но не те, что могли понравиться товарищам, и, разумеется, он подавил их. Паренек по кличке Обезьянняя жопа выучил свой урок.

В Бирме он очутился, когда ему еще не исполнилось двадцати. Родители нашли сыну место в лесоторговой фирме, решившись выплатить за него колоссальную по их средствам страховку (он затем отблагодарил родных, изредка присылая открытки с небрежными каракулями). Первые полгода Флори болтался в Рангуне, где якобы изучал коммерцию. Поселившись вместе с четырьмя такими же юнцами, ударился в разгул – и сколь невзрачный! Дружно хлестали виски, которое каждый втайне ненавидел, дружно орали, навалясь на фортепиано, дико похабные и глупые куплеты, дружно проматывали сотни рупий на страшенных, вышедших в тираж блудниц вавилонских. Этот этап тоже определил многое.

Из Рангуна его направили в джунгли севернее Мандалая, где добывалось тиковое дерево. Несмотря на отсутствие комфорта, дремучий край света и такой, едва ли не худший порок Бирмы, как дрянная однообразная еда, жизнь в лагере оказалась неплохой. Еще бредивший образом героя, Флори завел приятелей среди коллег. Снова пошли дружные развлечения: охота, рыбалка и возможность раз в год съездить в Рангун «к

дантисту». О, радости этих коротких рангунских дней! Набеги на лавки букинистов за новыми романами! Обеды в английских ресторанах с бифштексами, с настоящим, проехавшим восемь тысяч миль в морозильном ящике маслом! Великолепие грандиозных попоек! Юное непонимание уже сложившейся судьбы, приготовившей впереди долгие годы крошечного скучного и одинокого гниения.

Он акклиматизировался. Организм привык к странному ритму тропических сезонов. С февраля по май солнце пылает гневным божеством, затем внезапный западный муссон обрушивает шквалы, а затем бесконечный ливень, когда сырость пропитывает и вещи, и постель, и даже пища кажется насквозь промокшей. Причем зной не уходит, превращаясь в жаркую парилку. Низины джунглей раскисают сплошным болотом, поля становятся гигантской лужей, отдающей затхлой мышинной вонью. На книгах и башмаках расползаются пятна плесени. Голые бирманцы в широких плетеных колпаках вспахивают топкую грязь, погоняя ступающих по колено в воде буйволов. Следом женщины с детьми, аккуратно орудуя миниатюрными трезубцами, высаживают рассаду, отдельно каждый зеленый рисовый росток. Июль и август дожди льют практически непрерывно. Но вот однажды ночью с высоты несется пронзительный птичий клич – бекасы летят из Центральной Азии на юг. Дожди стихают, заканчиваясь к октябрю. Поля высыхают, рис созревает, бирманские детишки затевают игру вроде «классиков», прыгая на одной ноге и гоня зернышки по расчерченной земле, или запускают уносящихся прохладным ветром воздушных змеев. Приходит короткая зима, когда кажется, что Верхнюю Бирму нередко навещает призрак Англии. Всюду расцветают цветы, не совсем те, но очень похожие на английские – пышная жимолость, дикая роза с ароматом подгнивших груш, даже фиалки в темных лесных ложбинках. Солнце ходит по небу низко, ночами резко холодает и рассветный белый туман над долинами, словно густой пар великанских чайников. Пора стрелять уток и бекасов. Бекасов несть числа, а стаи диких гусей поднимаются из болотных травяных островков с шумом грохочущего по железному мосту грузового состава. Волны спелых, высотой по грудь рисовых колосьев золотятся, точно пшеничные. Крестьяне спешат в поля, закутав голову, зябко поджав руки и пряча стынувшие лица. Из лагеря идешь на делянку сквозь утреннюю мглу по странной для дикой чащобы, промытой росой, почти английской траве меж голых деревьев, на верхушках которых, съездившись, дожидаются солнца обезьяны. Вечером возвращаешься лесной тропой, холодно, рядом мальчишки гонят домой стада буйволов, чьи рога в сумерках маячат светлыми полумесяцами. Три

одеяла на кровати и пирог с дичью вместо вечного цыпленка. После ужина посиживаешь на бревне у большого походного костра, попиваешь пиво, болтаешь об охоте. Отблески пляшущего алым цветком пламени освещают дальний круг сидящих на корточках слуг и носильщиков, робеющих вторгаться в компанию белых и все же, как собаки, притянутых огнем. Лежа в постели, слышишь каплющую с ветвей, шумящую тихим дождем росу. Хорошо, когда молод и не тревожат думы ни о прошлом, ни о будущем.

Флори исполнилось двадцать четыре, он как раз собирался в отпуск на родину, когда вспыхнула Первая мировая. От армии он увернулся, что было легко и ничуть не осуждалось. У штатского населения Бирмы сделались чрезвычайно популярны рассуждения насчет истинно патриотичной «верности делу» (сколь удобен язык, изящно подменяющий «долг» почти неотличимо звучащим «делом»!), наблюдалась даже подспудная враждебность к тем, кто, оставив офисы, ушел на фронт. Что касается Флори, он уже развратился Востоком и не имел желания сменить виски, слуг и бирманских красоток на скуку строевых учений и тяготы солдатских маршей. Война глухо рокотала где-то за горизонтом. В безопасном, опухшем от жары и лени краю повеяло тоской. Флори жадно схватился за чтение, привыкая нырять в книжную жизнь, когда реальность становилась невмоготу. Утомившись ребяческими радостями и волей-неволей учась думать самостоятельно, он вырослел.

Свой двадцать седьмой день рождения он праздновал в больнице, с ног до головы покрытый мелкими язвами, которые считались инфекцией, но появились, скорее, от пьянок и скверного питания. Щербинки кое-где на коже держались еще года два. Внезапно он стал иначе видеть, иначе чувствовать. Молодость кончилась. Накаты малярии, заброшенность и регулярные попойки поставили на нем свое клеймо.

И каждый год теперь прибавлял горечи. А в центре всех размышлений, всех досадных впечатлений запылала ненависть к отравившему, кажется, даже воздух империализму. Мозг работал и работал (мозгам ведь не прикажешь «стоп» – известная драма недоучек, созревающих поздно, когда обидную судьбу не переделать), и Флори ухватил сущность родимой матушки Империи. Британская Индия являлась тиранией несомненно благожелательной, однако все же тиранией, созданной ради грабежа. И ко всем белым на Востоке, всем этим сахибам, среди которых ему выпало существовать, Флори начал испытывать злобное отвращение – вряд ли, надо сказать, справедливое. В конце концов, публика не хуже прочей. Да и судьба их незавидна: отдать тридцать лет жизни службе на чужбине, чтобы,

приобретя скромный доход, больную печень и шишковатую от тростниковых стульев задницу, вернуться в Англию и прилепиться к какому-нибудь захудалому клубу, – явно убыточная сделка. Впрочем, воспевать сахибов тоже нет повода. Бытует мнение, что англичан «на передовых постах» Империи отличают активность и деловитость. Заблуждение. Помимо специалистов Лесного департамента и нескольких других ведомств, для грамотного ведения дел британские служащие, в общем-то, не нужны. Мало кто из них трудится с инициативой и напряжением провинциальных английских почтмейстеров. Почти всю административную работу выполняет младший, туземный персонал, а управляет всем в действительности армия. Подле армии чиновник или бизнесмен может копошиться вполне благополучно, даже будучи полным болваном. И большинство действительно болваны. Скопище чванных тупиц, холящих свою тупость за оградой из четверти миллиона штыков.

Комически бездарный, бесплодный мир. Мир, где сама мысль под цензурой. В Англии даже трудно представить эту атмосферу, в Англии мы откровенны – распахиваем наши души и обретаем открытые души друзей. Но о какой дружбе можно мечтать, если люди лишь зубчики шестеренок в деспотическом механизме? Свобода слова немыслима. Все прочие ради бога: свобода пить беспробудно, трусить, сплетничать, бездельничать, развратничать – запрещено только думать самостоятельно. Любое мнение о любом, самом незначительном предмете диктуется уставом пакка-сахиба.

В итоге таишься, и потайной бунт разъедает как скрытая болезнь. Живешь сплошной ложью. Год за годом сидишь в убогих, осененных скрижалями Киплинга местных клубах, слева стакан виски, справа номер «Панча»: поддакиваешь майору Боджеру, зовущему сварить драных туземцев националистов в кипящем масле; слушаешь, как твоих друзей называют «индяшками» и покорно киваешь («да-да, индяшки»); спокойно смотришь, как кичливые мальчишки пинают седовласых слуг. Начинаешь горячо ненавидеть соотечественников, страстно желать, чтобы аборигены взбунтовались и перерезали белых господ. И во всем этом никакого благородства, и даже искренности маловато. Разве тебя и впрямь очень заботит деспотичное угнетение туземцев? Бесишься лишь оттого, что тебе лично не дают высказаться от души. Сам ты родное чадо тирании, сам ты пакка-сахиб, не свободнее раба или монаха в цепях намертво повязавших тебя правил.

Время шло, Флори все острее чувствовал свою отчужденность, все труднее давалось спокойно поговорить о чем-либо всерьез. Все больше он привыкал жить молча, сокровенно. Даже беседы с доктором, по сути, были

беседами с самим собой, ибо добряк доктор вообще-то не особенно понимал его. Но вечное подполье разлагает. Жить нужно на свету. Уж лучше быть тупым отставником, пьяно талдычащим про «сорок лет ровнехонько!», нежели одиноко утешаться мерцанием туманных миражей.

На родину Флори ни разу не ездил. Почему, он не мог бы объяснить, хотя довольно ясно осознавал это. Сначала мешали разные роковые обстоятельства: война, после войны фирма два года его не отпускала. Затем он, наконец, собрался. Он тосковал по Англии, испытывая, правда, страх наподобие боязни явиться перед барышней небритым. (Из дома уезжал мальчиком, много обещавшим и несмотря на родинку красивым; теперь же, всего десять лет спустя, стал желчным пьяницей, потертой рухлядью). Корабль поплыл на Запад, бурно вздымая волны, оставляя за кормой вьющийся снежный шлейф. От свежего морского воздуха захиревшая кровь взыграла, и Флори вдруг забыл, действительно забыл душную Бирму – еще можно начать сначала. Хотелось год пожить в хорошем, культурном обществе, найти подругу, которую не смутит его пятно, умную девушку, не какую-нибудь образцовую мэм-сахиб, он женится и тогда перетерпит еще десяток лет в Бирме, а после, подкопив денег, уволится, и они купят дом в Англии, где окружают себя друзьями, книгами, детьми, животными. И без следа развеется тягостный дух пакка-сахибов, и навсегда из памяти исчезнет дикий кошмарный край, что едва не погубил его.

В порту Коломбо Флори ждала телеграмма. Трое его коллег внезапно скончались от лихорадки, фирма очень сожалеет, но не мог бы он немедленно возвратиться? Отпуск, разумеется, будет ему предоставлен при самой первой возможности.

Проклиная судьбу, он пересел на ближайший пароход до Рангуна и оттуда поездом снова прибыл к месту работы (еще не в Кьяктаде, а в другом городке). На платформе его радостно встречали все сослуживцы. Он сдался, согласился временно задержаться. Странно было вновь видеть знакомые сцены! Лишь десять дней назад, отъехав, он уже ощущал себя в Англии, и вот опять бранящиеся из-за багажа полуголые кули и темнокожие возницы, кричащие на медлительных волов.

Окружив кольцом смуглых лиц, встречавшие засыпали его подарками. Ко Сла преподнес антилопию шкуру, индийцы принесли разные сласти и гирлянду оранжевых календул, Ба Пи, тогда совсем мальчик, – белку в плетеной клетке. Уже ждали телеги для чемоданов. К дому он шел, смешно украшенный ярким цветочным ожерельем. Вечернее солнце светило ласково. В воротах старый, цвета темной глины садовник крошечным серпом выкашивал траву, возле сарайчика жена повара тщательно

растирала на камне кэрри.

Что-то вдруг перевернулось в душе Флори; мелькнул миг, когда чувствуешь внутри серьезную, грустную перемену. Внезапно он понял, что сердце его радо возвращению. Ненавистная Бирма сделалась его родиной. Он прожил здесь десять лет, и каждая клеточка тела успела обновиться соком здешней земли. И все это – мягкий вечерний свет, старик индус с серпом, летящая вереница белых цапель – стало ему роднее Англии. Он пустил корни, глубокие корни в чужой стране.

С тех пор он даже не просился в отпуск. Отец умер, мать снова вышла замуж, сестры (длиннолицые чинные особы, которых он никогда не любил) обзавелись своими семьями. Теперь с Европой его связывали только книги. К тому же, понял он, зовущая Англия не панацея от одиночества; слишком нагладен был сектор земного ада, отведенный возвращавшимся из колоний. Ах, эти жалкие обломки, гуляющие по аллеям Бата и Челтнема! Эти склепы-пансионы, забитые разной свежести трупами, все толкующими о случае под Калькуттой в 1888 году! Дьявольский финал бедняг, имевших несчастье оставить сердце в чужой, чуждой стране. Лично для себя Флори единственный выход видел в том, чтобы найти кого-то близкого по духу, кто будет так же любить и так же проклинать эту землю, кому можно открыться до конца, кто поймет – короче, истинного друга.

Друга! Или подругу? Нет, женщину совершенно невозможно. Некую миссис Лакерстин? Тощую мэм-сахиб, злословящую за коктейлями, зверски донимающую слуг, за тридцать лет в стране не выучившую ни слова на местном языке? О боже, только не это!

Флори облокотился на изгородь. Хотя луна скрылась за темной стеной джунглей, собаки все еще выли. Вспомнилась строчка из Гилберта^[13], ерунда, но очень кстати насчет «болтливой накипи на каше, бурлящей в голове». Ловко этот пустобрех плел слова! Так к чему сводится бередящая душу трагедия? Просто скулеж – нытье малышки, объевшейся конфет? Может, он лишь бездельник, со скуки изобретающий себе горести? Томная миссис Уититерли^[14]? Доморощенный Гамлет? Возможно. Ну и что? Боли не меньше, когда видишь себя дрянью, зная, что где-то внутри есть способность быть человеком. Ладно! Господи, спаси от плаксивости! Флори вернулся на веранду, взял винтовку и, слегка вздрагивая, вновь прицелился в дворнягу. Гулко хлопнул выстрел – пуля зарылась в землю плаца. На плече Флори вспух гигантский синяк. Собака, взвизгнув, дала деру, через полсотни ярдов уселась и снова завела кошмарный ритмичный вой.

Косой утренний луч упал на плац, покрыв золотом белый фасад бунгало. Четверка иссиня-черных ворон спикировала на перила веранды, карауля момент хапнуть приготовленные Ко Сла на столике у постели бутерброды. Выбравшись из-под москитной сетки, Флори крикнул, чтобы ему принесли джин, прошел в ванную и устало присел на бортик цинкового чана с холодной, как считалось, водой. Потом, взбодрившись джином, он побрился, хотя обычно бритье его быстро отравившей щетины откладывалось до вечера.

Флори угрюмо принимал ванну, а мистер Макгрегор, в шортах и фуфайке, на специально имевшейся в спальне циновке одолевал позиции с номера 5 по номер 9 из руководства «Атлетический тренаж для лиц, ведущих сидячий образ жизни». Мистер Макгрегор никогда не манкировал комплексом утренних упражнений. Позиция № 8 («лежа на спине, перпендикулярно – не сгибая колен! – поднять ноги») была откровенно беспощадна к человеку за сорок. Позиция № 9 («лежа на спине, перейти к положению сидя и пальцами обеих рук коснуться вытянутых носков») того хуже. Но надо быть в форме! Невзирая на болезненность перехода к положению сидя, мистер Макгрегор решительно потянулся пальцами рук к носкам – шею и набрякшее лицо залила краснота, грозящая апоплексическим ударом, ожиревшую грудь покрыли капли пота. Тянуться, тянуться! Здоровье и бодрость любой ценой! Державший наготове чистое белье Мохаммед Али ждал у полуоткрытой двери, узкое арабское лицо не выражало ни сочувствия, ни удивления. Слуга уже пять лет по утрам наблюдал эти акробатические муки, смутно полагая их формой некоего религиозного экстаза.

В тот же час Вестфилд, уже развалясь, руки в карманах, за изрезанным, заляпанным чернилами конторским столом, наблюдал допрос приведенного двумя констеблями бирманца. Лицо подозреваемого было морщинистым и серым от испуга, из-под драного лонги торчали худые кривые голени, сплошь изъеденные клещом.

– Что? – спросил Вестфилд.

– Вор, сэр, – доложил толстый туземный инспектор. – Нашли при нем кольцо с изумрудом. Откуда оно у жалкого носильщика? И молчит, негодяй!

Инспектор, бешено скалясь, подскочил к нищему и заорал:

– Украл кольцо?

– Нет.

– Ты ворюга?

– Нет.

– В тюрьме сидел?

– Нет.

– Ну-ка повернись! – проревел опытный инспектор. – Нагнись!

Подозреваемый устремил задрожавшее лицо на Вестфилда, тот глядел за окно. Констебли скрутили и нагнули жертву, инспектор задрал ему сзади лохмотья.

– Смотрите сюда, сэр! Все в рубцах – пороли бамбуком. Значит, точно ворюга!

– Хорошо, посадите, – буркнул Вестфилд. В глубине души ему не нравилось гоняться за всякой вороватой голью. Бандиты или бунтовщики – да. Но не эти трясущиеся жалкие крысята. – Сколько сейчас в кутузке, Моонг Ба?

– Трое, сэр.

Камера наверху представляла собой охраняемую вооруженным констеблем клетку из шестидюймового бруса. Внутри тьма, жуткая духота и никаких предметов обстановки за исключением самого примитивного, тошнотворно зловонного отхожего места. Два арестанта скорчились на нижней перекладине подальше от третьего – индийского кули, с ног до головы, как кольчугой, покрытого стригущим лишаем. Дородная бирманка, жена констебля, стоя возле клетки на коленях, раскладывала в миски водянистый рисовый дахл.

– Сыты? – спросил Вестфилд.

– Очень-очень сыты, наисвятейший, – хором откликнулись арестанты

По норме на заключенного ежедневно отпускалось две с половиной аны, одну из которых аккуратно прикарманивала жена констебля.

Флори спустился с веранды и лениво поплелся, сшибая стеком сорняки. Утром все – светлая зелень, розоватые стволы, сиреневатая почва – окрашивалось цветной акварелью, исчезающей в слепящем дневном свете. Над плацем низко порхали стайки бурых голубей, изумрудные пчелы кружили среди цветов с неторопливостью гурманов. Вереница уборщиков тащила прикрытые краем одежды посуды к вырытой на опушке гнусной смрадной яме; еле ковылявшие на согнутых ногах заморыши в линялых тряпках выглядели процессией скелетов в могильных саванах.

Рядом с поставленной у забора двойной, для близнецов, детской кроваткой вскапывал новую клумбу мали – слабоумный и апатичный

индийский парень, живший практически в полном молчании, так как его манипурского диалекта не понимала даже жена из племени зербади; рот у парня из-за слишком толстого языка всегда был полуоткрыт. Закрыв лицо ладонью, он низко поклонился Флори и снова взмахнул своей мамути, продолжая неуклюже рубить землю ударами, сотрясавшимися вялые ляжки.

На заднем дворе взвился сварливый вороний крик – у жен Ко Сла началась утренняя перебранка. Ручной бойцовый петух Неро надменно, нервируя Фло, прошелся по дорожке, и Ба Пи вынес миску вареного риса покормить петуха и голубей. Крик возле хижин для слуг разгорался, хриплые мужские голоса пытались прекратить ссору. Страдалец Ко Сла много терпел от своих благоверных, и от «старшей», суровой жилистой Ма Пу, и от «младшей жены», жирной ленивой Ма И. Однажды, когда Ма Пу гналась за мужем с палкой и К° Сла решил спрятаться за спиной хозяина, Флори весьма чувствительно досталось по ноге.

Мистер Макгрегор – в шортах, рубашке хаки и охотничьем пробковом топи – поднимался по дороге, бодро шагая и раскачивая толстую трость. Помимо упражнений он старался соблюдать режим оздоровительных ранних прогулок. Холодная ванна и быстрая ходьба – лучшие средства начать день с энтузиазмом. Кроме того, случайно попавшая сегодня к мистеру Макгрегору и очень его расстроившая клеветническая статья в «Сынах Бирмы» заставляла особенно акцентировать оптимизм.

– Добренького здоровьица! – приветствовал он Флори, шутливо имитируя ирландский говорок.

– И вам того же! – выжал из себя улыбку Флори.

«Тухлая бочка с салом!», сквозь зубы прошипел он, завидев мистера Макгрегора. Его тошнило от этих тугих спортивных шортиков, заставлявших вспомнить журнальные снимки веселых и умелых скаутских вожатых, вонючих старых педерастов. Так смехотворно вырядиться, выставив голые жирные коленки, ибо пакка-сахиб обязан укрепить мускулы перед утренней жвачкой!

На холм вскарабкался запыхавшийся бирманец, клерк из конторы Флори. Сложив ладони и почтительно склонившись, он протянул грязный конверт, проштампованный по-бирмански, на клапане.

– Доброе утро, сэр.

– Доброе утро. Что это?

– Местное письмо, сэр, сейчас пришло. Похоже, анонимное, сэр.

– Черт! Ладно, иди, я буду часам к одиннадцати.

Флори распечатал письмо, написанное на большом листе и гласившее:

«Досточтимый Мистер ДЖОН ФЛОРИ!

Осмеливаюсь просить о внимании. Позвольте, ваша честь, предупредить и предостеречь вас важным сообщением.

В Кьяктаде известна ваша дружба с доктором Верасвами, которого вы часто навещаете и даже приглашаете в свой дом. Позвольте сообщить, что вышеуказанный Верасвами ПЛОХОЙ человек и не достоин дружбы европейского джентльмена. Это очень нечестный, неверный, продажный государственный служащий. Он выдает больным вместо лекарства цветную воду, продает наркотики и требует взятки. Несколько арестантов готовы заявить в суде, что он порет бамбуком и потом насыпает в раны перец, если родственники не приносят денег. Он также состоит в партии националистов и недавно организовал в газете «Сыны Бирмы» очень вредную статью против мистера Макгрегора, уважаемого Представителя Комиссара.

Он также насилует пациенток в больнице.

Ввиду изложенного почтительно выражаю надежду, что вы, ваша честь, будете СТОРОНИТЬСЯ вышеуказанного Верасвами и перестанете общаться с тем, из-за кого вам может последовать большое зло.

Не устаю молиться о вашем здоровье, долголетию и процветании

ВАШ ДРУГ»

Текст был выведен старательным, но шатким почерком базарного писца, однако таким невеждам неизвестны словечки вроде «сторониться». Письмо, должно быть, диктовалось клерком, а вдохновлялось несомненно У По Кином. «Крокодилом», хмыкнул Флори. Что касается звучащей сквозь раболепие явной угрозы «брось доктора, не то пожалеешь!», это не впечатлило. Происки азиатов англичан не страшат.

Теперь Флори колебался: никому ничего не говорить или показать анонимку объекту доноса. Порядочность, конечно, требовала отдать письмо доктору Верасвами, предоставив ему выбор ответных действий.

И все же разумнее устранился. Едва ли не главная из десяти заповедей пакка-сахиба учит бесстрастно взирать на грызню аборигенов. Нельзя доходить с ними до подлинной дружбы. Возможны и симпатия, и привязанность (англичане Британской Индии часто искренне любят местных сослуживцев, слуг, егерей, а сипаи плачут как дети, провожая

полковника в отставку), подчас допустима и задумчивая близость. Но союз, единение – никогда! Белому не пристало даже интересоваться содержанием «туземных свар», разбирая, кто там прав, кто виноват.

Официальное расследование вынудит открыто принять сторону доктора. На этого У По Кина плевать, но есть британцы; адски тяжела будет расплата за спайку с индусом. Забыть надо про письмо. Доктор хороший парень, но подняться ради него против дружно взъярившихся сахибов? Нет! Нет. Что проку человеку, душу спасающему, но теряющему целый мир^[15]? Флори смял листок. Опасность не избежать огласки была очень слаба, очень туманна, однако в этой стране все туманное весьма реально. Сам престиж, основа основ здешней жизни, – чистейшая туманность. Порвав письмо на мелкие клочки, Флори кинул их за ворота.

В этот момент раздался женский крик, совсем не похожий на сварливые вопли бирманок. Мали, опустив свою мамути, замер с разинутым ртом. Примчался встревоженный полуголый Ко Сла, прискакала, громко таякая, Фло. Крик повторился, неся он из джунглей позади дома, и то был, несомненно, полный ужаса зов английской женщины.

Рванувшись, Флори перемахнул через ворота, рассадил, падая, коленку, вскочил и кинулся вдоль изгороди к джунглям. Прямо за домом, в самом начале кустарниковой чащи имелась топкая ложбина, точнее мелкий пруд, чрезвычайно популярный у буйволов соседней деревушки. Флори продрался сквозь кустарник – на краю пруда сжалась белая как мел девушка, рядом грозно нагнула огромную рогатую голову буйволица, прикрывавшая мохнатого буйволенка. Еще один буйвол, по шею в тине, созерцал конфликт с рассеянностью кроткого динозавра.

Девушка вскинула искаженное лицо.

– Скорей! Скорей! – воскликнула она сердитой скороговоркой человека, которого душит страх. – Ну помогите, помогите же!

Ошеломленный Флори без лишних слов бросился в воду и за неимением палки ладонью резко шлепнул по носу буйволицы. Громадина послушно повернула и медленно, шумно выкарабкалась на берег вместе с теленком. Другой буйвол, поднявшись из чавкающей грязи, тоже вразвалку удалился. Девушка буквально упала в объятия Флори, ее трясло и колотило.

– Спасибо, спасибо! О, кошмар! Эти чудовища хотели убить меня! Кто это?

– Всего лишь купавшиеся буйволы.

– Буйволы?

– Не дикие бизоны, а буйволы, домашний скот бирманцев. Они вас,

кажется, перепугали? Мне очень жаль.

Девушка все еще цеплялась за него, и Флори чувствовал, как она дрожит. Лица он сверху не видел, только белокурую, стриженую как у мальчика макушку. Еще он видел на своем рукаве ее руку – длинную, светлую, с почти детскими веснушками на запястье. Много лет он не видел таких рук. От прижатого к нему тела исходила нежная теплота, и в груди его что-то плавилось и таяло.

– Все хорошо, враги ушли, – сказал он. – Бояться больше нечего.

Девушка перестала дрожать и чуть отодвинулась, не отнимая рук.

– Все хорошо, – повторила она, – я в порядке. Эти твари меня не тронули, только глядели жутко-жутко.

– Буйволы безобидны. Кстати, рога у них так сильно отогнуты назад, что бодаться и невозможно. Смирная, глупая животина лишь изображает боевую стойку, когда с детенышем.

Они наконец разъединились, взаимно слегка смутившись. Флори успел повернуться чистой стороной лица.

– Оригинальный вид знакомства! – сказал он. – Однако я даже не спросил, как вы здесь очутились. Простите за любопытство, откуда вы?

– Только что вышла из дядиного сада. Утро чудесное, решила немного прогуляться, а за мной вдруг эти чудовища. Я, видите ли, ничего тут не знаю.

– Ваш дядя? Ах да, понятно! Племянница мистера Лакерстина? Мы слышали о вашем приезде. Будем выбираться? Наверняка где-нибудь рядом есть тропинка. Интересное у вас первое утро в Кьяктаде! Боюсь, встреча с Бирмой не слишком вас порадовала.

– Нет-нет, только все очень странное. Какая чаща! Так все срослось, переплелось, здесь можно моментально заблудиться. Это и есть «джунгли»?

– Пока лишь их кустарник. Но Бирма почти целиком из джунглей, царство свирепо изобильной флоры. На вашем месте я не шел бы по траве – мелкие семена пробьются сквозь чулки и натрут кожу.

Он пропустил девушку вперед, чувствуя себя уютнее вне ее взгляда. Девушка была довольно рослой, стройной, в сиреневом ситцевом платье. Судя по фигуре и походке, лет двадцати, может, чуть-чуть постарше. Лица он все еще не рассмотрел, заметил только круглые, в роговой оправе очки и очень коротко подрезанные волосы. Стриженных женщин Флори прежде видел лишь на газетных снимках.

На плаце он поравнялся с ней, и она обернулась. Овальное лицо с правильными мелковатыми чертами; возможно не красавица, но в Бирме,

где англичанок отличает желтушная костлявость, неотразима. Флори резко дернул головой, хотя пятно и так было надежно скрыто. Невыносимо вблизи показаться своей мятой физиономией! Морщины вокруг глаз сейчас буквально жгли его. По счастью, вспомнилось утреннее бритье, что несколько приободрило.

– Надо бы как-то стряхнуть неприятное впечатление, – сказал Флори. – Вы не хотели бы зайти ко мне, слегка передохнуть перед возвращением домой? К тому же в этот час уже не стоит ходить без шляпы.

– О, спасибо, – сразу кивнула девушка, удивительно далекая от чопорных манер Британской Индии. – А это ваш дом?

– Да, только подойдем ко входу. Я велю слугам дать вам зонтик, с вашей короткой стрижкой солнце особенно опасно.

Они пошли по садовой дорожке. Фло, всегда лаявшая на азиатов, но благоволившая к запаху европейцев, вертелась возле ног, стараясь привлечь к себе внимание. Жара набирала силу. От цветущих петуний струился терпкий черносмородиновый аромат, на траву приземлился голубь, возбудивший охотницу Фло и мгновенно взлетевший. Флори и его спутница, не сговариваясь, остановились полюбоваться цветами. Оба вдруг ощутили прилив беспричинной радости.

– На этом солнце вам действительно не стоит ходить без шляпы, – повторил Флори, и в словах его прозвучала некая неуловимая интимность. Вновь упомянуть ее стрижку язык не поворачивался, эти короткие волосы виделись столь прекрасными – сказать о них было все равно, что их погладить.

– Смотрите, у вас на колене кровь, – сказала девушка. – Вы поранились, потому что спешили мне помочь?

На буром чулке Флори темнела высохшая кровавая струйка. «Ерунда!», отмахнулся он, но для обоих в тот миг это было вовсе не ерундой. С необычайным пылом они начали болтать о цветах. Девушка, как выяснилось, их «обожала», и Флори повел ее дальше, останавливаясь возле каждого растения.

– Взгляните, какие флоксы! Цветут здесь по полгода, им слишком много солнца не бывает. У палевых оттенков, по-моему, совершенно как у примул. Знаете, я уже пятнадцать лет не видел ни примул, ни желтофиолей. Циннии замечательные, правда? Невероятно изысканны, словно творение живописца. А это африканская календула, грубятина, почти сорняк, зато какая яркость, какая мощь! В Индии их чрезвычайно почитают, найдешь всюду, где побывали индусы, даже через много лет в джунглях, когда уж, кажется, заросли все следы. Но вы непременно должны подняться на

веранду, увидеть мои орхидеи. Хочу вам показать «золотые колокольчики», поистине золотые. Едва ли не единственное благо этой страны – роскошные цветы. Надеюсь, вы любите садоводство? Наше местное величайшее утешение.

– О, я просто обожаю садоводство, – сказала девушка.

Они вошли на веранду. Ко Сла, поспешно нарядившись в инги и лучший свой розовый шелковый гонгбонг, вынес поднос с графином джина, стаканами и пачкой сигарет. Метнув быстрый, зоркий взгляд на девушку, он смиренно сложил ладони и низко поклонился.

– Угощать вас поутру джином, я полагаю, неуместно? – сказал Флори. – Мне никогда не втолковать слугам, что некоторые способны дожить до завтрака без спиртного.

Наглядно причастный к этим «некоторым», Флори отверг предложенный Ко Сла стакан и знаком приказал слуге придвинуть стул к краю веранды. Девушка села. Воздух наполнился теплым медовым благоуханием завесивших проем золотистых, с темными листьями орхидей. Флори, прислонясь к перилам, отведя левую щеку в тень, стал рядом с девушкой.

– Вид от вас совершенно божественный, – сказала она.

– Не правда ли? Великолепно, в этом мягком свете, пока солнце не слишком поднялось и могары малиновыми шапками по бронзовому плацу, а холмы у горизонта почти черные. Мой лесной лагерь по ту сторону холмов.

Девушка, дальнзоркая, сняла очки, чтобы оценить расстояние. Глаза у нее были ясные, светло-голубые, светлее полевых колокольчиков. Еще он заметил изумительно гладкую кожу возле глаз, гладкую как лепесток, что вновь напомнило ему о собственных морщинах и заставило чуть отодвинуться. И все же он порывисто воскликнул:

– Какое счастье – ваше появление в Кьяктаде! Вы не представляете, что для нас новое лицо. Месяцами толчемся в своем крайне скудном обществе, лишь иногда мелькнет заезжий чиновник или очередной турист американец с фотокамерой проскочит, щелкнув с моста волны Иравади. Вы, вероятно, прямо из Англии?

– О, не совсем. Перед приездом сюда я жила в Париже. С матерью, она там живописью занималась.

– Париж?! Вы действительно жили в Париже? Бог мой, немыслимо – из Парижа в Кьяктаду! Знаете, в такой дыре даже трудно поверить, что Париж существует.

– Вам нравится Париж?

– Никогда и близко не бывал. Но мне видится, разом видится все это – кафе, бульвары, ателье художников, Вийон, Бодлер, Мопассан! Вам не представить, как на краю света звучат сами названия европейских городов. Так вы действительно жили в Париже? Посиживали вечером в кафе с художниками иностранцами, тянули белое вино и рассуждали о Марселе Прусте?

– Ну, вроде того, – смеясь, ответила девушка.

– Здесь ничего похожего! Здесь вам ни белого вина, ни Пруста, лишь виски и Эдгар Уоллес. Но если захотите почитать что-то любимое, возможно отыщете у меня. В клубной читальне одна макулатура. Конечно, я безнадежно отстал с моей библиотекой. Вы-то наверняка перечитали все на свете.

– О, нет-нет. Хотя я, конечно, обожаю читать

– Редкая удача, встретить кого-то, кому интересны книги. То есть литература, а не хлам на клубных полках. Надеюсь, вы простите мою болтливость. При встрече с человеком, осведомленным о существовании поэзии и прозы, меня распирает, как бутылку теплого пива. Пожалуйста, будьте снисходительны к естественному пороку захолюстья.

– Что вы, я люблю разговор о книгах. По-моему, чтение это замечательно. Разве можно без этого? Это, это...

– Душевное прибежище, да? Абсолютно точно. Вот, например...

Завязалась долгая горячая беседа, сначала о книгах, потом об охоте, которая явно интересовала девушку и о которой она настойчиво просила рассказать. Особенно ее взволновал эпизод с застреленным Флори несколько лет назад слоном. Флори не замечал, видимо и девушка не замечала, что говорит, по сути, только он. Его захлестывало счастье высказаться. А она была в настроении слушать. В конце концов, он спас ее от этих жутких буйволов, явившись перед ней почти героем. (Когда нас в этой жизни награждают доверием и благодарностью, благодарят обычно именно за то, чего мы уж никак не заслужили). Беседа текла так легко, что могла длиться бесконечно, но вдруг гармония пропала. Собеседники умолкли на полуслове, заметив, что они больше не одни.

С другого конца веранды, сквозь перила на них жадно таращилось угольно черное усатое лицо. Принадлежало оно старому Сэмми, «ученому» повару. Сзади толпились Ма Пу, Ма И, четверо старших детей Ко Сла, неведомо чей голый карапуз и две приковылявшие из деревни любопытные старухи. Одеревенев резными идолами с воткнутыми в плоские лица длинными сигарами, парочка престарелых бирманок пялилась на «английку», словно британский пахарь на зулуса в полной боевой

раскраске.

– Эти люди... – с запинкой произнесла девушка.

Обнаруженный Сэмми, виновато потупившись, принялся поправлять на голове узел пагри^[16]. Несколько оробела и остальная часть аудитории, за исключением идолоподобных старух.

– К черту их! – расстроено буркнул Флори. Вряд ли девушка теперь задержится. Одновременно ему и его гостье вспомнилось, что они совершенные незнакомцы. Слегка порозовев, девушка надела очки.

– Вы уж простите, – сказал Флори, – для них молодая англичанка диво дивное, явились поглазеть без всяких дурных намерений. Вон отсюда! – сердито махнул он рукой на зрителей, которые вмиг исчезли.

– Пожалуй, мне пора идти, – поднялась девушка, – я так надолго пропала, обо мне наверно уже забеспокоились.

– В самом деле, пора? Ведь еще рано, и нельзя же отпустить вас под это солнце с непокрытой головой.

– Но мне действительно...

Гостья не договорила, увидев новый персонаж. На пороге спальни стояла Ма Хла Мэй. Вызывающе подбоченясь, она, пришедшая изнутри дома, всем своим видом утверждала право здесь находиться.

Девушки замерли лицом к лицу. Контраст был просто поразительным: одна бледных оттенков цветущей яблони – другая в резких тонах, от яркого металлического блеска черных волос до глянца пунцового лонги. Прежде Флори не замечал, как смугла кожа Ма Хла Мэй, как экзотически чужеземна ее миниатюрная фигурка, крепкий ровный столбик которой нарушался единственным изгибом точеных бедер. Почти минуту, позабыв о наблюдавшем за ними хозяине дома, девушки не могли оторвать глаз друг от друга, и неизвестно, кто кому показался более странным и причудливым. Затем взгляд Ма Хла Мэй обратился к Флори, тонкие ниточки бровей мрачно сдвинулись немym вопросом «кто эта женщина?».

Небрежно, будто отдавая распоряжение по хозяйству, Флори проговорил по-бирмански:

– Сейчас же уходи. Начнешь скандалить, возьму палку и все кости тебе переломаю.

Ма Хла Мэй, поколебавшись, дернула плечиком и вышла. Глядя ей вслед, гостья спросила с любопытством:

– Это мужчина или женщина?

– Женщина, – ответил Флори, – жена кого-то из слуг. Приходила уточнить насчет стирки.

– Ах, значит они такие? Забавные! В поезде этих малышей было

полным-полно, но знаете, я принимала их за мальчиков. Совсем как голландские кукляшки, правда?

Утратив интерес к бирманке, едва та скрылась с глаз, гостя направилась к выходу. Флори не пытался ее удерживать, подозревая, что Ма Хла Мэй вполне способна вернуться и устроить сцену. Впрочем, большой беды бы не случилось, ибо обе красавицы не знали ни слова на чужих языках. Вызванный Ко Сла явился с зонтом из промасленного шелка на бамбуковых ребрах и, раскрыв его над головой девушки, почтительно устремился за ней. Флори проводил их до ворот. Задача скрыть родинку на ярком солнце заставила довольно сильно развернуться при прощальном рукопожатии.

– Мой адъютант вам обеспечит благополучное возвращение домой. Вы были необыкновенно добры, зайдя ко мне. Не могу выразить, как я рад нашей встрече. С вами тут все станет иначе.

– До свидания, мистер... вот смешно! Даже не знаю вашего имени.

– Флори, Джон Флори. А вы – мисс Лакерстин, не так ли?

– Да, Элизабет. До свидания, мистер Флори. Еще раз спасибо. Жуткие буйволы! Вы просто спасли мне жизнь.

– Не о чем говорить. Надеюсь, я увижу вас вечером в клубе? Ваши дядюшка с тетушкой наверняка придут. Так что, до скорого свидания!

Стоя в воротах, он смотрел ей вслед. Элизабет – красивое, редкое теперь имя! У нее оно, должно быть, и пишется на старинный манер. Ко Сла комично семенил позади барышни, стараясь держать зонт над самой ее головой, а собственное тело как можно дальше. По холму вдруг пронесся свежий ветерок. Дуновения невесть откуда налетающей прохлады случаются иногда в Бирме, вызывая грусть и тоску о морских просторах, объятиях русалок, водопадах и снежных гротах. Ветер прошелестел сквозь густые кроны могоров, подхватил, разметал клочки брошенной полчаса назад за ворота анонимки.

Лежа в гостиной на диване, Элизабет читала роман Майкла Арлена «Милашки». Этого писателя, надо сказать, она любила больше всех, хотя в разряде «серьезных» авторов готова была признать первенство Вильяма Локка^[17].

Прохладная оштукатуренная комната в блеклых тонах смотрелась бы просторной, если бы не нагромождение столиков с продукцией искусных бенаресских^[18] чеканщиков. Пахло ситцевой обивкой и увядшим букетом. Миссис Лакерстин находилась наверху, она спала. Слуги тоже затихли по своим конуркам, уронив отяжелевшие от дневного сна головы на деревянные валики-подушки. Спал сейчас, вероятно, у себя в тесном дощатом офисе и мистер Лакерстин. Бодрствовали лишь Элизабет и чокра, сидевший за стеной спальни миссис Лакерстин, качавший опахало продетой в петлю веревки босой ступней.

Элизабет, которой недавно исполнилось двадцать два, была сиротой. Отец ее, не такой пьяница, как его брат Том, но экземпляр той же породы, занимался чайным брокерством и, несмотря на шаткую основу своей коммерции, по врожденному чрезмерному оптимизму откладывать деньги не заботился. Мать Элизабет, особа самовлюбленная и скудоумная, твердо уклоняясь от каких-либо прозаических обязанностей под предлогом сверхтонкой чувствительности, после нескольких лет возни с играми в Женские Права и Высший Разум, после многократных провальных опытов на поприще литературы прибилась наконец к живописи (единственный вид искусства, где возможно творить без таланта или особых усилий). Роль артистки, гонимой «мещанами», среди которых, числился, разумеется, и супруг, дарила святое право всласть тешить свою назойливую дурь.

В последний год войны увильнувшему от армии отцу Элизабет удалось неплохо разжиться. Был куплен новый, довольно мрачный особняк в Хайгете, полном оранжерей, конюшен и теннисных кортов. Была нанята целая банда слуг, безудержный оптимизм главы семейства простерся даже до найма дворцового. Дочь была отправлена в дорогой частный пансион. О, счастье, райское блаженство тех двух семестров! Четыре ученицы – «аристократки», и почти у всех девочек собственные пони, на которых дозволялось выезжать по субботам после завтрака. В каждой судьбе есть момент оформления личных воззрений, для Элизабет им стал тот год, когда она, потершись среди богачек, усвоила ясный, весьма несложный взгляд на

мир: хорошо (в ее устах «дивно») – это роскошь, шик, аристократизм, а плохо («свински») – это бедность и добывание грошей своим потом. Возможно, именно таков главнейший воспитательный курс дорогих школ. С годами кредо Элизабет укреплялось, абсолютно все, от пары туфель до переживаний, воспринималось «дивным» либо «свинским». Увы, вследствие отцовских финансовых неурядиц преобладало «свинское».

Неизбежный крах наступил в 1919. Взятой из дорогого заведения, продолжавшей учебу в дешевых, свинских школах, а месяцами из-за невнесенной платы вообще сидевшей дома, Элизабет сравнялось двадцать, когда отец ее умер от гриппа. Вдова получила полторы сотни фунтов пожизненной годовой ренты. Устроиться вдвоем с дочерью на столь мизерные средства артистическая дама не могла и переехала в Париж (где быт дешевле), дабы всецело посвятить себя Искусству.

Париж! Житье в Париже! Флори не совсем точно вообразил картину интеллектуальных бесед с богемными бородачами под зеленью платанов. Стиль парижского существования Элизабет был иным.

Мать, сняв ателье на Монпарнасе, и мгновенно влившись в сословие бестолковых жалких бездарей, так глупо распоряжалась деньгами, что Элизабет настигли полуголодные дни. Пришлось найти работу – уроки английского в семье директора банка, где ее называли «наша мизз англез». Семейство это проживало далеко от Монпарнаса, что вынудило поселиться в ближайшем пансионе, затиснутой меж переулков двенадцатого округа жалкой дыре, окнами на мясную лавку с гирляндой развешенных снаружи парных пахучих туш, которые по утрам долго и сладострастно обнюхивались старцами покупателями, и на дверь забегаловки под вывеской «Приют друзей. Зверское пиво». Как она ненавидела тот пансион! Хозяйку, старую мерзавку в черном платье, вечно шнырявшую на цыпочках, с надеждой уличить стирку чулок в умывальном тазике. И квартиранток, тошнотворных прокисших вдов, настырно, словно воробы горбушку, осаждавших единственного постояльца мужского пола (кроткое плешивое существо из службы «Добрых самаритян»), а за столом ревнивым глазом измерявших каждый кусок в чужой тарелке. И ванную – облезлую берлогу, где ветхий позеленевший душ, выплюнув пару литров холодной воды, намертво затыкался. Банкир, чьих отпрысков взялась учить Элизабет, был господином весьма немолодым, с жирными отеками щеками и желтой, голой как яйцо страуса макушкой. Уже на второй день он, явившись среди урока в детскую, уселся рядом и тут же щипнул Элизабет за локоть, на третий день – за икру, на четвертый – под коленом, на пятый – выше колена. И затем ежедневно вечерами под столом шло

беззвучное сражение ее бдительно напряженной руки с его хищной проворной лапой.

Существование опустилось до просто невозможной степени «свинства». Но что особенно терзало и унижало Элизабет, так это материнская мастерская. Принадлежа к разновидности дам, не способных жить без прислуги, мать суетливо, с одинаково бесплодным результатом, металась между живописью и хозяйством. Нерегулярно посещала «студию», где под руководством метра – новатора, чей стильный метод основывался на грязных кистях, – малевала мутноватые натюрморты, а дома слонялась среди закопченных чайников и сковородок. Вид этого жилища более чем угнетал, он виделся Элизабет воплощением зла, мерзостью сатанинской – затхлый пыльный свинарник, пол завален книжками и журналами, кучи сальных кастрюль на ржавой газовой плите, не убиравшаяся до полудня постель и всюду под ногами либо банки смывавшей краску скипидарной жижи, либо плошки с остатками холодной чайной заварки. Едва переступив порог, Элизабет вскипала:

– Ну мама, миленькая, как так можно? Ты оглянись вокруг, это же ужас!

– Ужас, дорогуша? А что? Выглядит неопрятно?

– Неопрятно! О мама, разве обязательно ставить блюдце с овсянкой на кровать? И вся эта грязь. Кошмар, стыд какой! Представь, что кто-нибудь войдет.

Взгляд матери при малейшем намеке на необходимость ее трудовых действий устремлялся в дали иных миров.

– Моим собратьям, дорогуша, не до того. Мы ведь художники – богема! Другим не понять, как нас захватывает творчество. Ты, дорогуша, не наделена душой артиста.

– Надо хоть пару кастрюль вымыть. С ума меня сведет твоё жильё. Куда делась посудная мочалка?

– Мочалка? Дай подумать, совсем недавно она мне попадалась. Ах да! Я ею оттирала мою палитру. Ничего страшного, пополощи сначала в скипидаре.

И пока Элизабет мыла и подметала, мать садилась мараить бумагу угольным грифелем.

– Какая ты прелесть, дорогуша. Так изумительно практична! В кого бы это? А я! Я вся в искусстве. Внутри какой-то океан, поглотивший мелочи жизни. Вчера я за обедом придумала вместо посуды использовать «Новый журнал». О, гениально! Хочешь чистую тарелку – просто срываешь грязную страницу и так...

Друзей в Париже у Элизабет не завелось. Компанию матери составляли дамы того же стандарта или пожилые, невзрачные и небогатые холостяки, увлеченные изящными ремеслами вроде резьбы по дереву и росписи кувшинов. Из прочих рядом были только иностранцы, а всех их (по крайней мере, окружавших ее, дурно одетых, не умевших держаться за столом) Элизабет презирала. Ей оставалась одна отрада – иллюстрированные журналы в Американской читальне на рю Делизе. Она просиживала там часами, устраивалась у окна и мечтала, листая «Стиль», «Зеркало», «Модный силуэт», «Театр и спорт».

Не фотографии – картины рая! «Встреча. Терьер и сеттер на лужайке Чарльтон-холла, прелестного уорикширского поместья лорда Броудена». «В парке. Миссис Тайк-Боулби со своим догом Кубла Ханом, чемпионом летней выставки в Крафте». «На пляже в Каннах. Слева направо: мисс Барбара Пилбрик, сэр Эдвард Тук, леди Памела Уэстроп, капитан Таппи Бенакр».

Дивный, дивный мир! Дважды встретились лица соучениц по шикарной школе, и сердце ее сжималось. У бывших подружек все: лошади, автомобили, мужья конногвардейцы, а она тут, прикованная к жуткой поденщине, жуткому пансиону и жуткой матери! Но неужели нет спасения? Нет надежды вновь вернуться к благопристойной жизни?

Вполне естественно, что подле своей матери Элизабет возненавидела искусство, а склонность рассуждать («умничать») обрела для нее значение явственного «свинства». Как подсказывалось чувством, порядочные люди (те, что охотятся с борзыми, ездят на скачки, плавают на яхтах) не тешат себя вздором художества и сочинительства и не талдычат с умным видом про гуманизм-социализм. «Умник» в лексиконе Элизабет стало словом ругательным. И нескольких все же мелькнувших вблизи поэтов, художников по призванию, променявших солидную службу на вольность в нищете, она презирала даже яростнее, чем убогих материнских мазилок. Отвергнуть все прекрасное и благородное ради невесть чего – грех, гадость, низость. Жутко остаться старой девой, но лучше, в миллион раз лучше замужества за таким типом!

На втором году проживания в Париже мать Элизабет внезапно скончалась от отравления трупным ядом. Странно, впрочем, что она не погибла по этой причине еще раньше. Элизабет осталась одна, с капиталом менее сотни фунтов. В сочувственной телеграмме из Бирмы брат отца и его супруга приглашали племянницу к себе, обещая прислать подробное письмо.

Письмо заставило миссис Лакерстин задумчиво склонить изящную

змеиную головку и довольно долго покусывать карандаш.

– Мы, разумеется, обязаны приютить ее хотя бы на год. Боже, сколько забот! Однако девушки, если уж не совсем дурнушки, обычно успевают за год найти себе мужей. Но как же мне написать об этом, Том?

– Да прямо напиши, что тут ей проще подцепить чертова муженька. Чего еще?

– О, дорогой, ну что ты говоришь!

И миссис Лакерстин написала:

«Городок у нас, разумеется, маленький, к тому же по долгу службы мы часто уезжаем в джунгли. Боюсь, здесь может показаться скучно после всех, несомненно изумительных, парижских развлечений. Но неким образом и наша глушь благоприятна для юных леди, которых тут буквально боготворят. Наши джентльмены столь одиноки, они чрезвычайно ценят общество милых соотечественниц...».

Элизабет на тридцать фунтов накупила летних нарядов и немедленно отбыла.

Через Ла-Манш, судно со свитой резвящихся дельфинов вышло в открытое море, а из лазурных морских вод на изумрудные просторы Индийского океана. Корпус лайнера, разрезая волны, поднимал стаи пугливых летающих рыб, ночами океан фосфоресцировал и корабельный нос светился зеленой огненной стрелой. Элизабет «обожала» жизнь на борту. Обожала танцы по вечерам, коктейли, которыми ее наперебой угощали, очаровательные игры, от которых, правда, несколько уставала, причем всегда как-то одновременно с прочей веселившейся молодежью. Чуть не вчерашняя кончина матери даже не вспоминалась. Во-первых, Элизабет никогда не питала к родительнице особо нежных чувств, а во-вторых, здесь ведь никто не знал о ее прошлом. И это было так чудесно – после двух жесточайших лет упиваться расточительным светским шиком (не то чтобы все пассажиры действительно являлись богачами, но пароход обязывает проявлять привычку к роскоши). Она уже заранее любила Индию, которая ей очень ясно представлялась по рассказам новых знакомцев, даже выучила ряд самых необходимых туземных слов: чал (поезжай), джалди (быстро), сахиб-лог (господа) и т. п. Ей уже не терпелось окунуться в атмосферу клубов, где веют опахала и неслышно снуют почтительные слуги в белых тюрбанах, а неподалеку, на армейских плацах элегантно галопируют играющие в поло усатые загорелые офицеры.

В общем, все почти как у настоящих аристократов.

По зеленым зеркальным волнам, на которых грелись змеи и черепахи, пароход вошел в порт Коломбо. Судно окружила флотилия сампанов с дочерна смуглыми гребцами, чьи орущие рты кровожадно атели соком бетеля. Крича и отпихивая друг друга, они пробивались к спущенному трапу. Два гребца, сунувшись прямо в проход, завопили навстречу Элизабет:

- Не ходи с ним, мисси! Он плохой, не бери его!
- Не слушай, мисси! Это черный, подлый – всегда ложь говорит!
- Ха! Сам-то кто? Гляди-ка, мисси, какой белый! Ха-ха!

«Эй вы, молчать, не то обоим дам по шее!» – прикрикнул муж паровой подруги Элизабет, плантатор. Сев в одну из парусных плоскодонок, они поплыли к солнечной пристани. Проигравший лодочник-конкурент послал им вслед сочный, по-видимому, долго копившийся во рту плевок.

Земля Востока. С берега обдало густым зноем, дурманящим ароматом кокосов, сандала, имбиря и корицы. Друзья свозили Элизабет в курортное предместье Маунт-Лавиния, где они искупались в тепловатой воде, не светлее кока-колы. Спустя неделю пароход прибыл в Рангун.

Топившийся дровами поезд на Мандалай медленно полз через иссохшую равнину с волнистой каймой дальних синих холмов. Дым паровоза стоял неподвижным белым султаном, багрово сверкали развешенные на веревках связки перца чили, порой почва, словно дыханием великана, плавно вздымалась горбами белевших пагод. Внезапно пала тропическая ночь. Поезд, пыхтя и сотрясаясь, тормозил у маленьких станций, из темноты неслись дикие крики, сновавшие в отблесках фонарей полуголые мужчины с пучками высоко завязанных волос казались Элизабет чертями из преисподней. Потом состав еле-еле трясся сквозь лес, и невидимые ветки скреблись о стекла окон. До Кьяктады добрались около девяти. На станции ждали дядюшка, тетюшка, автомобиль мистера Макгрегора, а также слуги. Тетя, подойдя первой, коснулась плеч племянницы узкими вялыми руками и легонько чмокнула в щеку:

- О, полагаю, наша милая Элизабет? О, мы так рады.

Дядя, до сей минуты созерцавший через плечо жены фонарь, присвистнул «недурна, будь я проклят!», крепко обнял и тоже, с несколько излишним пылом, расцеловал Элизабет. Родственники эти увиделись впервые.

После ужина, когда дядя вышел в сад «глотнуть воздуха» (точнее, за домом приложиться к бутылке, доставленной верным слугой), тетюшка с

племянницей остались под колышущимся опахалом наедине.

– Выглядишь дивно, дорогая! Дай-ка еще раз на тебя взгляну. – Тетя взяла Элизабет за плечи. – Стрижка действительно тебе идет. Парижский фасон?

– Да, большинство парижанок сейчас со стрижкой, это мило, если, конечно, голова не слишком крупная.

– Дивно! И круглые очки – так элегантно! Говорят, в Южной Америке все кокетки теперь их носят. Оказывается, у меня племянница просто прелесть! Напомни, дорогая, сколько тебе исполнилось?

– Двадцать два.

– Двадцать два! Как завтра в клубе будут очарованы наши джентльмены! Бедняжкам редко выпадает счастье полюбоваться новым личиком. Значит, ты прожила в Париже два года? Невероятно, что парижские женихи не сумели завоевать столь восхитительную девушку!

– Мне, тетя, практически не доводилось видеть мужчин. Одних иностранцев. Мы вынуждены были жить очень скромно.

Я работала, – тихо, стыдливо добавила Элизабет.

– Ах, да-да, – со вздохом кивнула миссис Лакерстин. – Тяжкие времена! Барышням самим приходится зарабатывать на жизнь. Позор! Разве это не возмутительный эгоизм мужчин, гуляющих холостяками, когда вокруг множество одиноких бедных девушек?

Элизабет не ответила, и тетя, снова вздохнув, продолжила:

– Будь я в наши дни барышней, я бы, признаюсь, вышла за любого, буквально за любого!

Женщины встретились глазами. Приверженность деликатному стилю обиняков и околичностей отнюдь не мешала миссис Лакерстин высказываться ясно и до конца. Непринужденно развивая легкую светскую беседу, она сказала:

– Конечно, всякое бывает. Бывает, девушкам не удастся выйти замуж по собственной вине. Такое даже здесь случается. Вот, например, совсем недавний эпизод. Приехавшая сюда барышня целый год жила в доме брата и получила предложения от всех местных офицеров, инспекторов и весьма перспективных торговых служащих. И всем дала отказ (рассчитывала, говорили, на кого-нибудь из генштаба). И что же? Брат, разумеется, не мог вечно ее содержать. Теперь, говорят, несчастная стала помощницей старой леди, фактически – работницей. За жалование в пятнадцать шиллингов! Представить страшно!

– Страшно! – эхом откликнулась Элизабет.

Больше на эту тему не было сказано ни слова.

Наутро, за завтраком – со свежим букетом на столе, веявшим над головой опахалом, с вытянувшимся позади стула миссис Лакерстин смуглым долговязым лакеем в белой куртке и мусульманской чалме – Элизабет рассказывала о только что пережитом приключении:

– Да, и еще, тетя, так интересно! На веранду приходила бирманская малышка – представляете, я даже не отличала их от мальчиков? – желтенькая, вся как забавная куколка, лет семнадцати наверно. Мистер Флори сказал, что это его прачка.

Хорошо понимавший по-английски индийский лакей магометанин вздрогнул, скосив на барышню яркий круглый глаз. Мистер Лакерстин застыл, не донеся до рта вилку с куском рыбы:

– «Прачка»? – воззрился он. – Какая еще к черту «прачка»? В этой стране нам стирают только мужчины. Сдается мне...

И внезапно смолк, будто ему надавили на ногу под столом.

К вечеру Флори послал за индийским брадобреем, по тарифу восемь ан в месяц через день скоблившим щетину соплеменникам, а также, ввиду отсутствия конкурентов, обслуживавшим европейцев. Вернувшись с тенниса, лично прокипятив и сбрызнув одеколоном ножницы ожидавшего цирюльника, Флори подстригся.

– Достань мой выходной костюм, шелковую рубашку и лайковые туфли, – приказал он Ко Сла. – И галстук тот, новый!

– Сделал, тхэкин, – поклонился слуга, подразумевая, что все будет исполнено.

В спальне кроме разложенной одежды Флори нашел и самого камердинера, несколько надутого – явно, с явным неудовольствием, осведомленного о том, для чего (кого!) это щегольство.

– Что тебе? – буркнул Флори.

– Помогать одевать, тхэкин.

– Без тебя обойдусь, иди.

Намереваясь еще раз побриться, Флори не хотел брать помазок и бритву при слуге. Давненько он не брился дважды в день! Но как вовремя прибыл выписанный из Рангуна новый галстук! Одевался Флори очень тщательно и чуть не четверть часа приглаживал щеткой волосы, всегда плохо лежавшие после стрижки.

А потом – казалось, минуты не прошло – он уже шел рядом, вдвоем с Элизабет. Все вышло стремительно: увидев девушку в клубной «читальне», он с неожиданной отвагой предложил ей пройтись, и она тут же, даже не зайдя в салон предупредить дядю с тетей (вновь удивив Флори, ощутившего себя безнадежно отсталым провинциалом) согласилась. На дороге к базару под деревьями стоял густой мрак, листва почти скрывала свет луны, зато мерцавшие меж ветвей ясные крупные звезды сияли, будто лампы невидимых фонарей. Накатывали волны запахов: то приторный душноватый аромат жасмина, то едкое зловоние мочи и гнили от хижин против дома доктора Верасвами. Послышался рокот барабанов.

Флори вспомнил, что нынче ночью недалеко, возле жилища У По Кина, разыгрывают пуэ (организованное, кстати, самим У По Кином, хотя, разумеется, за чужой счет). Возникла смелая идея позвать туда Элизабет – ей может, ей должно понравится! Всякая зрячая душа это оценит! В клубе их долгое отсутствие, конечно, вызовет шок. И что? Пошли они! Она-то не

из них! И вместе, вместе с ней любоваться удивительным представлением! В этот миг грянул хор визжащих, хрипящих труб, щелкающих трещоток, глухо стучащих барабанов и взвился невероятно пронзительный голос.

– Что такое? – остановилась Элизабет. – Джаз-бэнд, да?

– Народная музыка бирманцев. Увертюра к их пуэ, чему-то среднему между исторической драмой и ревю. Вам, я думаю, будет интересно. Это рядом, только повернуть.

– О-о, – неуверенно протянула Элизабет.

За поворотом стало светло от горевших огней. Дорога ярдов на тридцать была запружена толпой сидящей публики; в глубине высился освещенный шипящими керосиновыми лампами помост, перед которым дудел-гремел оркестр. На помосте пластично двигались двое мужчин с кривыми блестящими мечами, в костюмах, напомнивших Элизабет о китайских пагодах. Масса зрителей колыхалась морем обтянутых белым муслином женских спин, розовых шарфов и черных глянцевого причесок. Кое-кто из публики уже дремал, свернувшись на циновке. Протискиваясь сквозь толпу, старый китаец с подносом арахиса заунывно выкрикивал: «Мьяпе! Мьяпе!».

– Постоим, минутку посмотрим, если вы не против? – сказал Флори.

Огни и адский шум ошеломили Элизабет, но больше всего ее поразила толпа, вольготно превратившая дорогу в театральный партер.

– У них спектакли всегда посреди шоссе? – спросила она.

– Как правило. Наскоро сколачивают помост, а утром разбирают. Зрелище длится всю ночь.

– Но разве им позволено перекрывать проезд?

– Позволено. Тут ведь нет правил транспортного движения. За неимением, так сказать, объекта регулирования.

Станный ответ ее покорибл. Тем временем чуть не вся аудитория развернулась поглазеть на «английку». Восседавший в центре толпы, где имелось несколько стульев для важных персон, У По Кин тоже кое-как повернул свою слоновью тушу, дабы приветствовать европейцев. В ближайшем антракте посланный к белым тщедушный Ба Тайк, кланяясь до земли, робко пробормотал:

– Хозяин спрашивает, не желают ли наисвятейший господин и молодая белая леди немного посмотреть наш пуэ? Для вас приготовлены стулья.

– Нас с вами приглашают в ложу, – перевел Флори Элизабет. – Не возражаете? Те два суровых парня сейчас покинут сцену, и начнется весьма занятная хореография. Вы не соскучились? Потерпите еще чуть-чуть?

Элизабет переполняли сомнения. Необходимость пробираться через

сборище чрезвычайно пахучих туземцев смущала и даже пугала. Однако, доверившись Флори, знавшему, надо полагать, правила местных приличий, она согласилась провести себя к стульям. Туземцы, раздвигаясь, таращились им вслед и громко тараторили, голени ее на ходу то и дело касались обернутых муслином жарких, крепко шибавших потом тел. У По Кин, с нижайшим для его комплекции поклоном, прогнусавил навстречу: «Добрый вечер, мадам! Счастлив познакомиться, окажите большую честь, присаживайтесь. Здравствуйте, мистер Флори! Какой сюрприз, сэр! Знайте, мы, что вы почтете нас своим визитом, мы приготовили бы виски и прочий европейский лимонад. Кха-ха-ха!»

Оскаленные в улыбке, красные от бетеля зубы сверкнули алой фольгой. Разбухший урод был так ужасен, так противен, что Элизабет невольно отшатнулась. Худенький подросток в пурпурном лонги склонился перед ней, предлагая стакан замороженного шербета. У По Кин хлопнул в ладоши, кликнул другого парнишку: «Хэй хонг галай!» и, приказав что-то, толкнул его к помосту.

– Велел в вашу честь немедленно выпустить их лучшую балерину, – пояснил Флори. – Смотрите, вот она.

Девушка, что, покуривая, сидела на корточках в глубине помоста, вышла на освещенную авансцену. Очень юная, тоненькая, плоскогрудая, в длинном, до полу голубом атласном лонги с пышно, по старинной моде, завернутыми выше бедер краями инги, она небрежно кинула свою сигару одному из оркестрантов и вытянула руку. Рука затрепетала бегущей змейкой.

Оркестр грохнул во всю мочь. Там были и дудки типа волынок, и странный инструмент из бамбуковых дощечек, по которым музыкант бил молоточком, и дюжина разнокалиберных узких барабанов, с которыми управлялся один виртуоз, успевавший основанием ладони колотить едва ли не по всем сразу. Через мгновение начался танец. Сначала даже не танец, а ритмичные кивки, наклоны, повороты. Шея и предплечья, волнообразно изгибаясь, качались безостановочно, точно заводные, однако необычайно плавно. Змеящиеся руки с головками согнутых, плотно сомкнутых пальцев постепенно поднялись и раскинулись. Ритм участился. Танцовка начала прыгать из стороны в сторону, приземляясь в неких глубоких реверансах и вновь взлетая с изумительной, невероятной при туго стянутых ногах, легкостью. Затем она продолжила свой танец в очень причудливой позе: как бы присев на согнутых коленях, наклонившись вперед, простирая выющиеся руки и быстро-быстро, энергично кивая головой. Оркестр кульминационно загремел. Вскочив и вытянувшись, танцовка закружилась

так стремительно, что фалды завернутого инги распластались венчиком подснежника. Музыка стихла так же резко, как началась, и девушка упала в последнем реверансе, под хриплый, восторженный рев публики.

Элизабет наблюдала танец со смесью удивления, недоумения и чего-то близкого ужасу. Шербет в ее стакане отдавал помадой для волос. Уснувшие на циновке подле самых ее ног три юные желтолицые бирманки свернулись кучкой скуластых котят. Под грохот оркестра Флори непрерывно бубнил ей на ухо свои комментарии к танцу:

– Я знал, что вам понравится, что вы оцените. Вы из мира культуры, не похожи на здешних наших жалких невежд! Разве это не стоит посмотреть? Обратите внимание на характер движений – наклоны странной марионетки, а руки, словно кобры, готовые напасть. Гротеск и даже страшновато, но таков замысел – это искусство. А сейчас нечто явно сатанинское! Что ж, азиаты с дьяволом накоротке. Но какая архаика, какая подлинность древней культуры! Жесты оттачивались, сохранялись тысячелетиями. Пластика Востока всякий раз заставляет ощутить, как бесконечно глубоки корни искусства, до самых тех времен, когда мы бегали в шкурах. Неким образом, сложно выразить, но вся история, весь дух Бирмы в извивах этих немислимо гибких рук. Смотришь танец и видишь рисовые поля, деревни под баньянами, пагоды, монахов в желтых рясах, купающихся на рассвете буйволов, древние дворцы...

Он не договорил, поскольку музыка внезапно оборвалась. Особенно острые впечатления, в частности танцы пуэ, вечно толкали его к излишней говорливости. (Досадно, глупо! Разливался как в романах, причем посредственных!). Флори замолчал. Элизабет тоже молчала. Она не очень поняла, о чем он толковал, но ненавистное «искусство» мелькнуло пару раз вполне отчетливо. Впервые ей подумалось, что отправиться на прогулку вдвоем с практически неизвестным джентльменом было, пожалуй, неблагоразумно. Вокруг жутковато кишело месиво лоснящихся резкими бликами смуглых лиц. Зачем она здесь? Зачем сидеть среди стада чернокожих, задыхаясь от их вонючих испарений? Почему они не остались в своем клубе, а потащились смотреть дикое туземное кривляние?

Оркестр вновь заиграл, и артистка начала новый танец. Лицо ее теперь было густо напудрено, глаза мерцали, как сквозь гипсовую маску, и вся она, с этим мертвым лицом, со странными марионеточными жестами, казалась каким-то зловещим демоном. Музыканты сменили темп, и девушка звонко запела. Мелодия быстрых, резких выкриков звучала и весело и свирепо. Толпа подхватила песню, вторя припеву сотней хриплых голосов. Тогда, причудливо нагнувшись, солистка стала ритмично поворачиваться, пока не

оказалась спиной к публике. Руки по-прежнему извивались, тело раскачивалось, узкая атласная юбка серебром переливалась на вихляющих оттопыренных бедрах. И наконец – главный трюк этого танца – в такт музыке девушка принялась очень рельефно вращать то правой, то левой ягодицей.

Обрушились аплодисменты. Три спавшие под ногами юные бирманки проснулись и тоже бешено захлопали. Рядом некий клерк в жажде угодить европейцам заорал: «Браво! Браво!», У По Кин шикнул на него – он-то насквозь видел английских леди. Элизабет, однако, уже вскочила

– Мне пора, я ухожу, – отрывисто проговорила она.

Глаза ее смотрели вниз, но щеки пылали, и Флори встревожено поднялся:

– Как? Прямо сейчас? Время, конечно, позднее, но ведь они специально ради вас сразу же выпустили свою примадонну. Еще совсем недолго?

– Не могу, я давным-давно должна была вернуться. Дядя с тетей подумают бог знает что!

Она поспешно стала пробираться сквозь толпу, Флори за ней, даже не успев извиниться перед устроителями пуэ. Бирманцы хмуро расступались – только наглые англичане способны все перевернуть, немедленно потребовав лучшую танцовщицу, и в разгар ее выступления уйти! После ухода белых поднялся страшный шум, ибо солистка отказалась танцевать, а публика требовала продолжения. Лишь парочка выскочивших на сцену шутов, стрелявших хлопушками и сыпавших солеными остротами, восстановила мир.

Флори понуро топал за быстро шагавшей, плотно сжавшей губы Элизабет. Что с ней? Было же так хорошо! Он попытался оправдаться:

– Простите, у меня и в мыслях не было вас как-то...

– Ничего. За что вы извиняетесь? Пора вернуться, вот и все.

– Да, я не подумал. Живя здесь, многого уже не замечаешь. Но, знаете, в народе правила приличий несколько отличны от наших, более строгих и, если угодно...

– Не надо! Не надо! – срываясь на крик, воскликнула она.

От слов, понял он, только хуже. Дальше шли в полной тишине, она впереди, он сзади. Сердце его ныло. Чертов дурак, что наделал! Между тем, об истинной причине гнева Элизабет Флори вообще не догадывался. Не танец оскорбил ее, бесстыдные телодвижения лишь прояснили непристойность самого желания толкаться в стаде грязных, потных аборигенов. Им, белым людям! И все эти его свинские книжные словечки!

Болтал точь-в-точь как те, мелькавшие в Париже умники голодранцы. А ведь сначала показался джентльменом. Тут перед ней воскресла сцена утреннего спасения от буйволов, и она несколько смягчилась. Когда дошли до клуба, негодование Элизабет почти рассеялось, а Флори набрался храбрости снова раскрыть рот. Он остановился на дорожке, она тоже остановилась. В тени ветвей, просеивавших нежный свет звезд, лицо ее смутно белело.

– Я хотел... Я хотел спросить, вы еще сердитесь?

– Конечно, нет. Я же сказала.

– Зря я вас туда потащил. Пожалуйста, простите. И знаете, по-моему, вам лучше сказать, что просто выходили пройтись по саду или что-то в этом роде. Экскурсию белой барышни на пуэ сочтут сомнительной, вряд ли стоит рассказывать об этом.

– Я и не собираюсь! – с неожиданным лукавством ответила Элизабет.

И Флори почувствовал, что прощен, хотя так и не понял, за что именно.

Поход их решительно не удался; в клуб они, не сговариваясь, вошли отдельно. А в салоне царил атмосфера большого торжества. Местное европейское общество в полном составе ожидало прибытия Элизабет. У дверей, низко кланяясь и улыбаясь, двумя шеренгами встречали шестеро туземных слуг в парадных белых одеяниях, индус буфетчик преподнес сплетенный чокрами для «мисси-сахиб» громадный венок. Мистер Макгрегор, представляя членов клуба, остроумно аттестовал каждого: Максвелла, например, как «нашего эксперта по дереву», Вестфилда как «стража порядка и, м-м, грозного сокрушителя разбойников» и т. д. Все очень смеялись. Хорошенькое личико привело джентльменов в столь приятное расположение духа, что они даже с удовольствием прослушали искрометный спич, над сочинением которого мистер Макгрегор, честно говоря, трудился целый день.

Улучив момент, развеселившийся Эллис втащил Флори и Вестфилда в комнату для бриджа. Цепко, но вполне дружески держа Флори за локоть и хитро щурясь, начал допрос:

– Ну, братец, все тут тебя обыскались! Где ж ты шляется?

– Да так, гулял.

– Гулял! А с кем это?

– С мисс Лакерстин.

– Ясное дело! Значит, это ты тот драный олух, который первым повис на крючке? Другие оглянуться не успели, а он уж хватать наживку! Я-то думал, ты у нас стреляный воробушек.

– В каком смысле?

– В каком! Малец невинный! В таком, что тетя Лакерстин уже назначила тебя в законные племянники. Если, конечно, не слиняешь вовремя. А, Вестфилд?

– Так точно, сэ. Парнишка холостой, подходящий. Созрел, как говорится, для брака. Самое время подсесть.

– Что за бред, с чего вы взяли? Девушка здесь меньше суток.

– Хватило тебе, чтоб уже прохаживаться с ней, цветочки нюхать. Донюхаешься! Том Лакерстин, может, и пьянь, да не болван драный, чтобы племянку себе на шею вешать. Да и она знает, с какого бока хлеб намазлен. Так что гляди, поосторожней суй башку в петлю!

– Иди к черту! Не смей так говорить о людях. Эта девушка, в конце концов, еще такое юное создание...

– Эх ты, ослище старый, – обнаруживший новый скандальный сюжет, Эллис почти нежно потрепал плечо Флори, – брось дуришь, лопоухий. Думаешь, все девицы наготове, а эта нет? У всех них одно на уме – завидишь кого в брюках, цапай да волоки к алтарю. Крепко нацелены. Зачем, по-твоему, она приехала?

– Ну, я не знаю. Захотела и приехала.

– Балда! Явилась мужа себе отловить. Известный номер! Коль уж девице никак не пристроиться, так катит в Индию, где джентльмены враз балдеют от беленькой шейки, – называется «индийский брачный рынок». Славненький такой мясной базарчик! Тоннами к нам везут это мясо для гнусных холостых старикашек вроде тебя. Товар отменный! Экспресс-доставка!

– Не устал еще пакости молоть?

– Баранинка с лучших английских пастбищ! Свежесть и сочность гарантируется!

Похотливо фыркая, Эллис изобразил выбор аппетитного куска мяса. Шуточка ему уже явно полюбилась, обещая надолго застрять в репертуаре; мараить женщин было его сладчайшим удовольствием.

С Элизабет Флори в тот вечер больше не разговаривал. Общество развлекалось шумной беседой ни о чем, он в этом жанре не блистал. Что же касается Элизабет, культурный мир белых лиц, родных фотожурналов и милой «китаёзы» рассеял наконец осадок от нелепого посещения дикарских плясок. В девять провожать домой семейство Лакерстин отправился не Флори, а мистер Макгрегор, эскортировавший Элизабет меж кривых стволов с грацией исполинского ящера. Разумеется, барышне был предложен весь ассортимент анекдотов – каждого новичка мистер

Макгрегор одаривал массой забавнейших историй, старожилам давно осточертевших и бесцеремонно прерывавшихся. Но Элизабет по натуре была отличным слушателем, так что глава округа про себя отметил редкостную интеллектуальность этой барышни.

Флори еще посидел за выпивкой. Подробно и смачно обсуждалась Элизабет. Распри насчет приема доктора Верасвами временно отложили. Составленное Эллисом гневное возражение тоже сняли с доски (державший курс беспристрастной справедливости мистер Макгрегор настоял на его удалении). Протест, таким образом, был подавлен; впрочем, уже достигнув своей цели.

Следующий месяц стал временем больших событий.

Вражда У По Кина с Верасвами переросла в массовое противостояние. Население городка, от высших туземных чинов до последнего мусорщика, раскололось на две партии, каждый член которых готов был в нужный момент под присягой оболгать врагов. (Партия доктора, однако, оказалась значительно слабее как числом сторонников, так и их клеветнической отвагой). Редактора «Сынов Бирмы» привлекли к суду и посадили. Арест его откликнулся в Рангуне небольшими – лишь парочка убитых – и быстро усмирёнными беспорядками. Сам редактор за решеткой объявил голодовку, продержавшись без пищи целых шесть часов.

В Кьяктаде тоже было беспокойно. Каким-то загадочным способом бежал из тюрьмы знаменитый бандит Нга Шуэ О. Кроме того день ото дня множились слухи о мятежных крестьянских настроениях, в связи с которыми по секрету упоминалась Тхонгва, деревушка в глуши тиковых джунглей, недалеко от временной инспекционной стоянки Максвелла. В довершение всего объявился вейкса, колдун, бродивший по деревням, пророчивший гибель британской власти и торговавший рубашками, заговоренными от пуль. Не склонный верить слухам, мистер Макгрегор все же срочно запросил помощь военной полиции и немедленно получил шифровку о выступившем отряде под командой английского офицера. Вестфилд, воспрянув, рвался в гнездо предполагаемых бунтовщиков.

– Господи, хоть бы раз они взбрыкнули! – делился он с Эллисом перед отъездом. – Но хрен дождешься! Вечно пшик. Веришь ли, я тут десятый год, и ни единой твари, даже бандита вшивого не подстрелил. Тоска. Душит параграф.

– Ну, кой-чего все ж можно, – утешал Эллис. – Как покажут зубы, можешь их главарей бамбуком в кровь отодрать. Все лучше, чем в твоей кутузке с ними нянчиться.

– Хм, это да. Миндальничать не перестанем, дожмут нас циркуляры о чертовых правах.

– Закон – тухлятина! Бирманец только палку понимает. Видал их после порки? Везут из тюрьмы полудохлых на телеге, вой, бабы им задницы кашей банановой мажут. Вот им закон! Я б только как у турок сволочей лупцевал, по пяткам!

– Ладно. Может, хоть часик побуянят. Тогда уж и солдат, и ружья, и все

что надо. Хлопнуть бы парочку дюжин – прочистить воздух!

Увы, надежды не сбылись. Когда Вестфилд с десятком полицейских – констебли, удалые мордастые гуркхи^[19], жаждали пустить в ход свои кинжалы – ворвались в Тхонгву, деревня встретила унылым мирным покоем. Ни малейшего признака бунта, только ежегодная, возникавшая с регулярностью муссона, попытка крестьян уклониться от налога.

Становилось все жарче. Элизабет настиг первый приступ лихорадки. Теннис почти прекратился; после каждого сета игроки падали на скамейку и пинтами глотали прохладительные напитки, чаще тепловатые, поскольку лед, привозимый лишь дважды в неделю, за сутки таял. Полыхали лесные пожары. Защищая лица детей от солнца цветной глиной, бирманки превращали ребятишек в карликовых африканских шаманов. К созревшим старым тутовым деревьям у базара слетались тучи голубей, и мелких, зеленых, и королевских, огромных как утки.

Флори тем временем выгнал из дома Ма Хла Мэй.

Гнусное дело! Повод у него нашелся – она украла и заложила китайцу Ли Ейку золотой портсигар. Но все, все в доме знали, что это из-за «крашеной английки», как называла Элизабет Ма Хла Мэй.

Сначала она держалась без истерики. Молча стояла, когда он выписывал ей чек, по которому она у того же Ли Ейка или индийского менялы получит сотню рупий, молча выслушала о своей отставке. Стыд жег Флори, он не мог поднять глаз, а когда за ней приехала телега, спрятался в спальне, дожидаясь конца этой муки.

Вот уж колеса скрипнули по песку, вот уже хрипло гикнул возница, но вдруг все зазвенело от кошмарных истошных воплей. Флори выскочил. У ворот в ярком свете дня боролись цеплявшаяся за столбик калитки Ма Хла Мэй и пытавшийся ее оторвать Ко Сла. При виде Флори женщина вскинула лицо, искривленное яростью и обидой, и закричала, бесконечно повторяя: «Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин!». Его пронзило, что даже сейчас она называла его тхэкин, «мой господин».

– В чем дело? – поморщился он.

Оказалось, Ма Хла Мэй и Ма И не поделили пряжку для волос. Оставив предмет раздора одной даме, Флори возместил другой ее утрату парой рупий. Телега наконец тронулась, увозя Ма Хла Мэй, угрюмо и прямо сидевшую между двух высоких корзин, с котенком на коленях. С котенком, которого он подарил ей всего два месяца назад.

Ко Сла, когда заветная мечта о выдворении Ма Хла Мэй сбылась, нисколько не повеселел; узнав же про намерение хозяина остаться в городке и почтить приезжающего к белым священника, нахмурился еще

больше. В воскресенье к подножью алтаря собралось двенадцать благочестивых персон (включая мистера Франциска, мистера Самуила и шестерых крещеных аборигенов), и миссис Лакерстин на крошечной сипевшей фисгармонии заиграла «Пребуди во Мне». Впервые за последние десять лет Флори очутился в церкви не на похоронах. А крайне смутно представлявший таинства ритуалов «английской пагоды» Ко Сла, как всякий холостяцкий слуга, воспринял этот респектабельный поход с глубочайшей интуитивной ненавистью.

– Быть беде! – мрачно вещал он у сараев. – Я все вижу! Наш-то последнюю неделю совсем другой стал – за день курит всего полпачки, джин перед завтраком не пьет, вечером снова бреется (думает, глупый, я не знаю!) и еще полдюжины рубашек шелковых заказал! Я уж молчу, что сто раз на меня «схотиной сёртовой» ругался, чтобы, мол, вовремя ему эти рубахи. Ох, горе-то! Месяца три от силы, и прощай мир да лад!

– Жениться, что ль, собрался? – спросил Ба Пи.

– Как пить дать. Коли белый стал в свою пагоду ходить, это уж точно – жди конца.

– Я у многих белых служил, – отозвался старый Сэмми. – Хуже всех был сахиб полковник Вимпол. Ему как банан пережаришь, он велит ординарцу нагнуть тебя, а сам со всей мочи ногой колотит тебе в зад. А как напьется, станет прямо по хижине твоей палить. Но лучше у сахиба полковника Вимпола целый год, чем неделю у мэм-сахиб, что тебя в кухне учит-учит. Если хозяин женится, я в тот же день сбегу.

– А мне никак, мы с ним пятнадцать лет уже. Только я знаю, как она тут будет, белая женщина. Будет жучить за каждую пылинку и, чуть в жару приляжешь, звонить, чтобы ей чай несли, и нос совать во всякую кастрюльку, и вопить из-за тараканов в помойном баке. Сдается мне, белые женщины и не спят вовсе – вечно думают, чем бы слуг изводить.

– У них еще такие книжечки, – подхватил Сэмми, – куда они все пишут, что на базаре куплено: за это две аны, за это – полторы. Ни пайсы^[20] не дадут человеку заработать! На луковку возьмешь, а пият больше, чем сахиб за пропажу пяти рупий.

– Будто я не знаю? – тяжело вздохнул Ко Сла. – Эта будет еще похуже Ма Хла Мэй. Женщины!

Эхом вздохнули и остальные, в том числе Ма Пу и Ма И, отнюдь не принявшие последний возглас на счет женщин вообще, поскольку англичанки виделись здесь особым племенем, не совсем даже человеческим и столь ужасным, что их воцарение мигом распугивало самых верных слуг.

Тревоги К° Сла были, однако, преждевременны. На десятый день общения с Элизабет Флори едва ли стал ей ближе, чем в день знакомства.

Случилось так, что это время он был при ней фактически единолично, ибо почти все белые разъехали по джунглям. Флори тоже абсолютно не имел права болтаться в городе – добыча древесины на его участке сильно затормозилась, и неопытный заместитель (полукровка, англо-индус) слал ежедневные отчаянные письма с перечислением бедствий: один из слонов заболел! мотор дрезины на узкоколейке, доставлявшей бревна к реке, сгорел! пятнадцать грузчиков разбежались! И все же, ссылаясь на лихорадку, Флори тянул, не в силах уехать от Элизабет, упорно надеясь вернуть чарующую теплоту их первой встречи.

Да, встречались они с утра и каждый вечер вдвоем играли в теннис (у миссис Лакерстин как раз разболелась нога, а мистера Лакерстина донимала больная печень, что вынуждало супругов безвылазно сидеть в салоне клуба, утешаясь сплетнями и бриджем). Они подолгу бывали вместе, часто наедине, болтали вроде бы свободно, без конца обсуждая бесконечную ерунду, но Флори не покидала скованность; ни разу не удалось забыть о своей меченой щеке.

Дважды в день скоблившийся подбородок горел, организм изнывал без невозможных в присутствии девушки виски и сигарет. Желанная задушевность не приближалась.

Почему-то не удавалось нормально поговорить. Просто поговорить! Звучит тускло, но означает так много! Если полжизни жил в жестоком одиночестве, среди тех, кого возмутил бы любой твой искренний отклик на что угодно, жажда общения становится первейшим из всех желаний. Однако же не выходило. Фатальным образом беседы их брэнчали все тем же: грампластинки, собаки, теннис – пошлая клубная трескотня. Словно Элизабет и не хотелось говорить о чем-либо другом. Стоило Флори коснуться темы мало-мальски интересной, щебет ее сменялся уклончивой сухостью, в голосе слышалось «не буду с тобой играть!». Ее литературный вкус, обнаружившись, ужаснул. Правда, Флори напоминал себе, что это еще дитя, к тому же разве не питала эту душу атмосфера парижских платанов, белого вина, бесед о Прусте? Скоро она несомненно поймет и несомненно отзовется, надо лишь заслужить ее доверие.

Конечно, такта Флори не хватало. Замкнутый книголюб, он лучше

понимал идеи, чем окружающих. И при всей пустоте их разговоров стал порой раздражать Элизабет; не столько даже тем или иным суждением, сколько своим смущавшим ее тоном. Между ними возникла напряженность, не очень внятная, но часто доводившая почти до ссоры. Когда один человек знает страну, а некто только приезжает, первый, естественно, становится гидом и толкователем; Элизабет осматривалась в Бирме – Флори показывал, переводил и объяснял. Стиль пояснений и вызывал в туристке внутренний протест. Рассказывая о «туземцах», гид, например, всегда держал их сторону, хвалил их обычаи и нравы, позволял себе даже сравнивать местных с англичанами, причем опять-таки в их пользу. Это задевало. Пусть они экзотичны, любопытны, но все-таки относятся к «низшим» народам, неразвитым и темнокожим. Позиция гида отличалась какой-то чрезмерной терпимостью. Однако Флори не уловил, чем постоянно нервировал Элизабет. Он так старался развернуть перед ней Бирму во всей прелести, так боялся увидеть надменный стеклянный взгляд мэм-сахиб! Забыл, что большинству людей в чужой стране уютно лишь с ощущением презрительного превосходства над коренными жителями.

Конечно, Флори чересчур усердствовал в попытках заинтересовать Элизабет Востоком. Пробовал, например, вдохновить ее на изучение бирманского языка – безуспешно (тетушка объяснила племяннице, что бирманский нужен только миссионеркам, а дамам для объяснений со слугами вполне достаточно индийского жаргона). И подобным мелким расхождениям не было конца. Взгляды у него, начинала чувствовать Элизабет, не совсем те, коих должен держаться англичанин. Еще яснее она различила его желание вызвать в ней симпатию к бирманцам и даже восхищение ими. Дикарями, чей вид по-прежнему заставлял содрогаться!

Предметы споров мельтешили рядом постоянно. Вот шла навстречу мужская компания бирманцев. Все еще удивленно и слегка брезгливо оглядев их, Элизабет делилась с соотечественником:

– Как они все же безобразны, правда?

– Разве? По-моему, довольно симпатичны, а скроены вообще роскошно. Смотрите, какой торс у парня – бронзовый атлет! И представьте, сколько анатомических курьезов явила бы нам бы улица в Англии, если б и там расхаживали, обмотавшись единственной тряпицей.

– Но эти жуткие головы! Без затылка, как у кошек, с покатым, каким-то хищным лбом. Я в журнале читала про формы черепа, там говорилось, что покатый лоб выявляет врожденную криминальность.

– Не слишком ли размашистое обобщение? У половины человечества такие лбы.

– Ну, если вы имеете в виду всяких цветных, тогда конечно...

Или вот проходила мимо вереница крестьянок с кувшинами на головах – медная кожа, стройные сильные спины, плотность мускулистых ягодиц. Бирманки особенно шокировали Элизабет, ощущавшую как оскорбление некое свое видовое родство с женским туземным населением.

– Просто страшили, да? Что-то такое грубое, похожи на каких-то животных. Неужели они кому-нибудь могут нравиться?

– Полагаю, своим мужчинам.

– Ну, если только своим. Но как дотронуться до этой черной кожи? Бр-р!

– Знаете, существует мнение, и я склонен с ним согласиться, что прожившим на Востоке смуглота видится более органичной, естественной. Собственно, так оно и есть. Возьмите мир в целом – скорее уж белых надо признать странным капризом природы.

– Очень оригинальный взгляд!

И так далее, и так далее. В изнанке его рассуждений ей постоянно слышалось нечто дурное, нездоровое. Особенно отчетливо это проявилось тем вечером, когда Флори, пойманный у ворот клуба мистером Самуилом и мистером Франциском, опустил до разговора с несчастными метисами. Оба евроазиата глядели на него глазами псов, умоляющих кинуть им мячик. Говорил, в основном, худенький, табачного оттенка, вечно возбужденный Франциск, сын женщины с юга Индии. Бледно-желтый, с тусклыми рыжими волосами Самуил, чья мать была из бирманских каренов, молча млел. Тщедушные, в солдатских обносках и огромных тропических шлемах, они смотрелись парочкой хрупких поганок. Говорить с белым да еще рассказывать о себе было для них великим, величайшим счастьем. И когда изредка (не чаще пары случаев в год) такой шанс выпадал, речи Франциска лились неукротимым потоком. Увидев с террасы клуба Флори, Элизабет направилась встретить его у корта и подошла как раз вовремя, чтобы узнать о главных вехах богатой и поучительной биографии.

– Отца моего, сэр, я помню плоховато, – гортанной певучей скороговоркой болтал Франциск, – но он был ужасно-ужасно сердитый, ходил с большой тяжелой палкой и часто нас всех дубасил: меня, моего сводного братишку и наших мамочек. А когда ожидался епископ, нам с братишкой сразу приказывали надеть лонги и бегать с туземными детьми, как будто мы чужие. А моему-то отцу, сэр, никак было в епископы. Он, сэр, секты свои пять раз переменял и потом слишком обожал водку китайскую из риса, страсть как шумел с нее и еще сочинил самую великолепную

брошюру «Бич пьянства», издано Общиной баптистов в Рангуне, цена одна рупия восемь ан. А мой сводный братишка умер, жары не вытерпел, все кашлял, кашлял...

Евроазиаты заметили Элизабет и, сдернув с голов свои топи, сверкая улыбками восторга, раскланялись. Судьба годами не баловала их беседой с белой леди. Вспыхнувший Франциск, в страхе, что его прервут и разговор потухнет, судорожно зачистил:

– Добрый вечер, мадам, добрый, добрый вечер! Такая честь, большая честь, мадам! Какая жаркая погода на этих днях, не так ли? Да, апрель, апрель. Вас, верно, очень донимают приступы лихорадки? Самое лучшее средство – толченый тамаринд прикладывать. Я сам каждую ночь ужасно мучаюсь. Очень уж донимает лихорадка нас, европейцев.

«Нас, европейцев» было произнесено с важностью полуграмотного североамериканского поселенца, светоча истины для темных жителей Старого Света^[21]. Элизабет, холодно глядя, не ответила: кем бы ни были эти субъекты, их развязность явно превышала меру допустимого.

– Спасибо, насчет тамаринда я запомню, – кивнул Флори.

– Старый проверенный рецепт китайцев, сэр. А еще, знаете, и вам, сэр, и мадам не надо бы сейчас ходить в панаме. Очень опасно нам! Аборигенам-то все нипочем, а у нас череп тонкий, нам это солнце прямо смерть! Но вы спешите, да? – упавшим голосом протянул Франциск, – вам некогда, мадам?

Элизабет окончательно решила презреть вульгарных типов, с которыми теряет время Флори, и пошла к корту, досадливо хлопнув в воздухе ракеткой. Флори тут же стал прощаться, стесняясь, стараясь как можно дружелюбнее спроводить терзавших душу несносных горемык.

– Надо идти, – развел руками он, – ну, пока, Франциск, пока, Самуил.

– До свидания, сэр! До свидания, мадам! Приятного, приятного вам вечера!

Пятясь и махая огромными шлемами, бедняги удалились.

– Боже мой, кто это? – спросила Элизабет. – Нелепые какие! Я уже видела их в церкви, один по виду почти белый, но ведь не англичанин, нет?

– Нет. Сыновья белых отцов и местных женщин. Мы таких ласково называем «желтопузыми».

– Но как они живут, чем? Где работают?

– Перебиваются кое-как при базаре. Франциск, насколько мне известно, писарем у закладчика индуса, а Самуил чем-то вроде ходатая по тяжбам. Хотя кормятся, главным образом, за счет милосердия туземцев.

– Что? Вы хотите сказать, милостыни от туземцев?

– Именно так. Расход, думаю, невеликий, если, конечно, есть желание помочь. А у бирманцев принято спасать ближних от голода.

О нищенстве в колониях людей, хотя бы отчасти белых, Элизабет услышала впервые. Новость так поразила ее, что теннис еще на несколько минут был отложен.

– Ужасно! Недопустимый, по-моему, пример! Ведь они все-таки почти как мы, и неужели нельзя что-нибудь сделать? Собрать немного денег по подписке и отослать этих двоих куда-то?

– Боюсь, проблему это не решит, их всюду ждет та же участь.

– Ну, а нельзя найти им хоть какой-то пристойный заработок?

– Сомневаюсь. Видите ли, у подобных полукровок, возвращенных на помойке и полуграмотных, нет стартовой площадки. Европейцы, гнушаясь ими, не подпустят карикатурную родню и к самым ничтожным штатным должностям. Ничего кроме милостыни, пока дурачки не бросят жалких потуг быть «белыми». Однако же не бросят и понятно – капля белой крови их единственный капитал. Бедняга Френсис, как ни встретишь, все с рапортом о своей лихорадке. Понимаете? Считается почему-то, что туземцев она не треплет. То же самое здоровенные шлемы от солнца – демонстрация своих нежных европейских макушек. Так сказать, родовой герб бастардов.

Рассуждения Флори девушку не убедили, лишь вновь задели потаенным сочувствием метисам, которых Элизабет наконец для себя классифицировала, отнеся к сорту мексиканцев, итальянцев и прочих «даго», в кинофильмах всегда изображающих плохих.

– Ужасно выглядят – такие хилые и льстивые, и лица такие неблагородные. Это ведь явное вырождение? Я слышала, что полукровки всегда наследуют самое скверное с двух сторон?

– Не знаю, вряд ли. Евразиаты частенько далеки от совершенства, но иного при их условиях ждать трудно. Вот наше к ним отношение действительно самое скотское, словно бы эти экземпляры заводятся от сырости. Происхождение их известно, стало быть, нам и отвечать за их существование.

– Нам?

– Ну, отцы же у них были.

– О!.. Это... Но ведь это же не мы. Только последний негодяй мог бы... могли вот так с туземками, вы не согласны?

– Совершенно согласен, лишь замечу, что в данном случае негодьями были посланцы святых миссий.

Флори вспомнилась полукровка Роза Мэрфи, соблазненная им в 1913 в

Мандалае. Вспомнилось, как он крадучись выскальзывал из дома и ехал, прячась в плотно зашторенной повозке; вспомнились завитые тугими локонами волосы Розы, ее мать, сухонькая старая бирманка, наливавшая ему чай в гостиной с горшком папоротника и плетеным диваном. И позже эти написанные на дешевой бумаге, бесконечные душераздирающие письма, которые он перестал вскрывать.

После тенниса Элизабет вновь заговорила о Самуиле и Франциске:

– А с этими двумя кто-нибудь дружит, приглашает их к себе?

– Боже упаси! Абсолютные изгои. С ними даже не разговаривают, исключительно «здравствуйте-прощайте», а Эллис и того не скажет.

– Но вы ведь сейчас с ними говорили?

– Что ж, у меня склонность к поспрашиванию приличий. Речь о благородных пакка-сахибах, от которых я изредка дерзаю отличаться.

Опрометчивая реплика. И выражение «пакка-сахиб», и все его значение Элизабет уже вполне усвоила, так что разница позиций прояснилась. На Флори был брошен почти враждебный взгляд – нежное, гладкое как лепесток, девичье лицо умело смотреть на удивление жестко, с особым холодком, блестящим в круглых стеклах очков. Очки вообще выразительная штука, порой повывразительнее глаз.

Итак, Флори сам ничего не понял и к себе доверия не вызвал. Внешне, однако, все шло довольно гладко. Подчас он раздражал Элизабет, но память о его подвиге в день знакомства еще держалась, и примечательно, кстати, что девушка пока как-то не замечала его ужасного пятна. К тому же все-таки имелись некие увлекавшие ее сюжеты – охота, например (тут она проявляла редкий для своего пола энтузиазм), а также лошади (увы, в этом предмете Флори был менее сведущ). Они договорились вскоре вместе поехать на охоту. Оба готовились к экспедиции с нетерпеливой, хотя не совсем совпадавшей, страстью.

Утренняя прогулка в город походила на плавание сквозь жаркие волны. Навстречу Элизабет и Флори, шаркая сандалиями, тянулись с базара бирманцы, быстро семенили стайки щебечущих, сверкавших гладкими черными головками девушек. С обочины, разломанные хваткой мощных тутовых корней, осколки плит гневно таращились резными масками демонов. Еще одна старая смоковница, обвившись вокруг пальмы, гнула, заламывала стройный ствол в беспощадной многолетней борьбе.

Гуляющая пара приблизилась к тюрьме, громадному квадратному строению с бетонной стеной футов двадцать в высоту. По гребню стены расхаживал, скребя когтями, тюремный ручной павлин. Две тройки матерых мосластых арестантов в робах из мешковины и таких же колпаках на бритом темени, нагнув головы, волокли груженные землей телеги под надзором индуса конвоира. Ярко блестели кольца ножных кандалов, сероватые лица поражали смиренным равнодушием. Небрежно отмахиваясь от круживших над ней наглых ворон, прошла женщина с корзиной рыбы на голове. Где-то поблизости морским прибоем шумели голоса.

– Здесь прямо за углом базар, – пояснил Флори, – забавное местечко!

Поддавшись уговорам, спутница согласилась осмотреть развлекательный объект. Проследовали дальше. Огороженный вроде большого загона для скота, базар состоял из теснившихся по кругу низеньких, крытых пальмовым листом ларьков. Крик, толчея, искрящийся каскад одежд всех цветов радуги. Позади рынка виднелся широкий мутный речной поток, стремительно мчавший коряги и пряди пены. У берега качалось множество привязанных к шестам остроклювых сампанов с нарисованными на бортах лодок глазами.

Элизабет и Флори остановились понаблюдать. Мимо, придерживая на головах корзины овощей и таща за собой обалдевавших при виде европейцев ребятишек, сновали покупательницы. Старый китаец в линялой синей куртке спешил, нежно прижав к груди кусок каких-то залитых кровью свиных потрохов.

– Ну что, побродим вдоль ларьков? – предложил Флори.

– В этой толпе? Так грязно, ужас.

– Да вы не беспокойтесь, нас пропустят. Идемте, будет любопытно.

Элизабет последовала нерешительно и неохотно. Опять он затащил ее

к туземцам смотреть их мерзкую возню! Зачем? Все это как-то неправильно! Но, не умея объяснить протест, девушка все же пошла. Густо ударило острой смесью чеснока, рыбы, пота, пыли, кориандра, аниса и гвоздики. Вокруг месиво тел: пропеченные солнцем коренастые крестьяне, морщинистые старики с узелками седых волос, матери с голыми младенцами подмышкой. Вертевшаяся под ногами Фло лаяла непрерывно. Чье-то плечо крепко толкнуло Элизабет – увлеченные битвой перед прилавком, крестьяне даже не заметили белую леди.

«Взгляните-ка!» – махнул на что-то стеклом Флори, дальнейший комментарий потонул в криках двух торговков, пихавших друг друга кулаками через корзину ананасов. Элизабет уже мутило от шума и зловония, а Флори проталкивался глубже и глубже, поминутно тыча указующим стеклом. Товары выглядели непривычно, очень сомнительно и бедно. Тяжелые шары подвешенных на нитках грейпфрутов, красные бананы, корзины лиловых креветок размером с омаров, связки ломкой сушеной рыбы, горы стручков перца, тушки разделанных копченых уток, зеленые кокосы, пучки сахарного тростника, личинки жука-носорога, остро заточенные дахи, лакированные сандалии, клетчатый шелк, напоминающие куски мыла пилюли для любовного влечения, громадные глиняные фляги, китайские конфеты из чеснока с сахаром, белые и зеленые сигары, бусы из фиолетовых семян хурмы, пищащие цыплята в плетеных клетках, медные Будды, кучи похожих на плоские сердечки листьев бетеля, бутылки со слабительным, накладки для причесок, кухонные горшки, подковы для волов, игрушки из папье-маше, магические ленточки крокодилей кожи. Голова у Элизабет кружилась. На другом конце базара солнце сквозь алый зонт буддийского монаха кроваво просвечивало, как сквозь ухо великана. Перед очередным ларьком четыре женщины, дравидки, дубинами толкли в огромной деревянной ступе кориандр, едкая пряная пыль, забив ноздри Элизабет, заставила ее чихать. Кошмар достиг предела, девушка тронула Флори за рукав.

– Эта толпа, эта жара, невыносимо. Можно куда-то в тень?

Гид обернулся. Честно говоря, пыл красноречия (напрасный в базарном гаме) весьма ослабил его внимание к едва живой спутнице.

– О, простите, немедленно отсюда! Передохнем в лавке у китайца, Ли Ейк парень гостеприимный. Как-то впрямь душно.

– Дышать нечем от этих специй, и что это за жуткий рыбный запах?

– А-а, такой местный соус из креветок, которых сначала на несколько недель закапывают.

– Боже, какая гадость!

– Ничего, даже полезно. Фу, нельзя! – прикрикнул он на Фло, сунувшую свой нос в корзину, полную рыбешек с игольчатыми жабрами.

Чего Элизабет действительно хотелось, так это вернуться в клуб, но китайская лавка, где на витрине красовались рубашки из манчестерского ситца и баснословно дешевые немецкие часы, выглядела блаженным островком Европы в пучине варварства. У самой двери их нагнал тощий парнишка с напомаженным «англичанским» пробором, в надетом поверх лонги синем блейзере и оранжевых штиблетах. Неуклюже то ли шаркнув, то ли склонившись, он протянул Флори замызганный конверт.

– Письмо, сэр.

– Вы позволите? – кивнул Флори Элизабет и распечатал послание.

В письме, составленном от имени Ма Хла Мэй и заверенным снизу ее крестиком, содержалось невнятно угрожавшее требование пятидесяти рупий. Флори отвел парнишку в сторону.

– По-английски понимаешь? Скажи, пусть подождет, и передай, что так она не вытянет ни пайсы. Ясно?

– Да, сэр.

– Иди. И чтоб я тебя больше не видел!

– Да, сэр.

«Напрашивался в клерки, покоя от них нет», – объяснил Флори, поднявшись вслед за Элизабет на крыльцо, а про себя подумал, что отставленная подруга как-то уж слишком быстро принялась за шантаж. Впрочем, сейчас некогда было это обдумывать.

После улицы в лавке, казалось, царилась ночь. Не имевший привычки кидаться навстречу входящим, хозяин неподвижно покуривал среди корзин с товаром. По спине старого китайца спускалась длинная коса, скуластое желтое лицо смахивало на добродушный череп. Флори дружил со стариком. Завидев гостя, Ли Ейк смешливо приветствовал его гортанным, якобы бирманским восклицанием и поспешил вглубь лавки распорядиться насчет угощения. В воздухе вился сладковатый дымок опиума. К стенам были приклеены ленточки красной бумаги с черными иероглифами, на возвышении маленького алтаря перед изображением пары дородных безмятежных особ в расшитых одеяниях тлели ароматические палочки. Две китаянки, старая и молодая, сидя на циновке, скатывали сигареты из похожей на рубленый конский волос смеси табака и соломы. Одеты они были в черные шелковые шаровары, ступни с круто вздутым подъемом были втиснуты в красные деревянные, буквально кукольные туфельки. По полу толстым желтым лягушонком ползал голый младенец.

– Какие у них ноги! – шепнула Элизабет. – Просто кошмар! Как это?

Это же не от природы?

– Нет, эффект изощренного мастерства. Древний, теперь уже немодный обычай вроде косы у старика. Согласно китайской эстетике столь миниатюрная ножка – красиво.

– Красиво! Смотреть страшно на их уродство. Совсем, видимо, дикари!

– Ну что вы! Полагаю, их культура постарше и поглубже нашей. А красота лишь дело вкуса. Для одного из здешних малых народов, палаунгов, прелесть женщины измеряется длиной шеи; девочкам постепенно добавляют ряды медных ошейников, вытягивая шейку до изумительной жирафьей высоты. Не более эксцентрично, нежели корсет или кринолин.

Тем временем хозяин возвратился в сопровождении двух молоденьких бирманских толстушек, вероятно сестричек, которые, хихикая, несли пару стульев и синий двухлитровый китайский чайник. Девушки были (или являлись прежде) любовницами старика. Ли Ейк вскрыл жестянку с шоколадом, радушно обнажив в улыбке три почерневших, прокуренных зуба. Гости сели, хотя Элизабет не покидала напряженность – не стоило, конечно, идти сюда и принимать дары фольклорного гостеприимства. Одна из девушек, став позади гостей, принялась обдувать их шеи, другая, опустившись на колени, начала разливать чай. Элизабет чувствовала себя совершенно по-дурачки, с дувшей в затылок девицей и ухмылявшимся прямо в лицо старым китайцем. Казалось, спутник нарочно загонял ее в такие нелепые ситуации! Предложенную шоколадку она взяла, но выговорить «спасибо» губы не разжались.

– Это прилично? – тихонько спросила она Флори.

– Прилично?

– Ну, это не очень... не слишком роняет, что мы с вами сидим вот тут у них?

– У китайцев? Они в этой стране аристократы, причем достаточно демократичных воззрений. Думаю, нам позволительно держаться с ними на равных.

– Чай гадкий, какой-то совсем зеленый. Они не догадываются хотя бы чуточку молока подлить?

– Не стоит. Этот особый сорт старику присылают из Китая, чай с лепестками мандариновых цветов.

– А вкус, будто опилки заварили, – вздохнула она, осторожно пригубив.

Держа полуметровую трубку с металлическим желудем на конце, Ли

Ейк заботливо следил за угощением гостей. Стоявшая позади стульев девушка что-то сказала по-бирмански сестре, обе прыснули, сидевшая на полу, вскинув глаза, с ребячьим откровенным интересом уставилась на Элизабет и затем, повернувшись к Флори, спросила, есть ли у белой леди под платьем корсет («кьорьсет»)?

– Ш-ш! – гневно пнул ногой болтушку Ли Ейк.

– Мне затруднительно узнать это у леди, – ответил Флори.

– О, тхэкин, пожалуйста, узнайте! Так интересно!

Позабыв о любезном обдувании, и вторая сестра, выбежав, присоединилась к мольбе. Обе, казалось, больше жизни жаждали увидеть «кьорьсет», им столько приходилось слышать про этот железный жилет, который крепко-крепко сжимает женщину, чтоб не было грудей, совсем-совсем не было! Для наглядности они прижимали пухленькие ручки к означенным частям тела. Нельзя ли все же попросить белую леди? Тут сзади комнатка, где она может раздеться. Ну пожалуйста!

Вдруг стало тихо. Явно не зная куда деть чашечку, полную отвратительного чая, Элизабет сидела с весьма натянутой, точнее каменной улыбкой. Холод сковал детей Востока, их наивная болтливость столкнулась с ледяным молчанием, от изумительно красивой англичанки дохнуло чем-то устрашающим. Даже Флори почувствовал легкий озноб. Повисла тяжкая, нередкая в общении с азиатами, пауза, когда собеседники, пряча глаза, тщетно ломают голову над продолжением разговора. В этот момент, соскучившись среди корзин, голый малыш приполз из недр лавки к самым ногам гостей. С пристальным любопытством исследовав их обувь, он поднял голову – два жутких белых лица привели его в ужас. Раздался рев, и на пол полилась тонкая струйка.

Старуха глянула из угла, цокнула языком и продолжала скатывать сигареты. Остальные вообще как будто ничего не заметили. Лужа делалась все шире. Испуганно расплескивая чай, Элизабет быстро поставила чашку вниз и вцепилась в руку Флори.

– Этот ребенок! Что ж это? Это слишком!

Мгновение все удивленно глядели, не сразу поняв ее тревогу. Затем защелкали слова, зацокали языки. Дотоле детский проступок безразлично воспринимался случаем самым нормальным, но теперь домочадцы сгорали от стыда, на малыша посыпались упреки «ай, позор!», «ай, противный!». Подхватив все еще ревавшего мальчонку, старая китаянка потащила его на крыльцо, чтобы отжать там наподобие купальной губки. Элизабет выскочила вон, Флори вдогонку, Ли Ейк взволнованно и огорченно смотрел вслед убегающим гостям.

- Вот это? Это у вас культурный народ? – возмущалась Элизабет.
- Простите, – бормотал Флори, – мне и в голову не могло...
- Гнусный и омерзительный народ!

Она пылала гневом. Румянец горел ярчайшим из возможных оттенков ее кожи – нежно-розовым колером чуть проклюнувшихся маковых бутонов. Он молча шел за ней обратно сквозь базар и, лишь отшагав сотню ярдов по дороге, отважился вновь открыть рот:

– Мне очень жаль, поверьте. Вообще-то Ли Ейк отличный малый, он теперь будет страшно переживать, что оскорбил вас. Надо было бы попроситься, хотя бы поблагодарить за чай.

– Ах, еще поблагодарить? Ну-ну!

– Нет, правда, вы обиделись не совсем справедливо. Каждому народу свой путь, и нужно как-то принимать чужую непривычную колею. Представьте, что вы, например, вдруг оказались в средневековье...

– Я предпочла бы помолчать!

Впервые они определенно ссорились. Убитый горем, Флори даже не спрашивал себя, чем провинился, тем паче не подозревал, что именно его хвалы Востоку бесят ее неджентльменской, извращенной и нарочитой тягой к «свинству». Не замечал даже ее брезгливых взглядов на туземцев. Знал только, что при всякой попытке поделиться с ней своими мыслями, впечатлениями, ощущениями, она фыркает и шарахается от него.

Они взбирались по холму. Флори шел слева, чуть позади, неотрывно глядя на край щеки и золотившуюся под панамой щетинку волосков. Как он любил, как он любил ее! Будто истинная любовь открылась лишь сейчас, когда он понуро плелся, не смея и показаться своей пятнистой мордой. Несколько раз он порывался заговорить, однако голос не слушался, да и разум опасался снова чем-то ее задеть. Наконец, неуверенно изображая светскую легкость, он вымолвил:

– Что-то чертовски душно?

При жаре пятьдесят градусов в тени реплика не блестящая. Однако она внезапно откликнулась весьма живо – обернувшись и улыбнувшись, подтвердила:

– Просто пекло!

И все, и опять мир. Глупейшая банальность смягчала ее, как по волшебству. Пыхтя и капая слюной, подбежала отставшая Фло, и тут же зажурчала, закружилась обычная трепотня о собаках. Псы – сюжет неистощимый. Но почему только собаки? Мысль эта занимала Флори всю дорогу, пока солнце жгло склон и огнем пекло едва защищенные хлопковой тканью спины. Почему ни о чем кроме собак, либо тенниса, либо

патефонных пластинок? И все же, если не сбиваться с трассы, как хорошо и дружелюбно текла их болтовня!

Вдоль сверкавшей белой кладбищенской стены они прибыли к дому Лакерстинов. У ворот росли густые могары и вымахавшие на восемь футов штокрозы с цветками, круглыми и пунцовыми, словно щечки деревенских красоток. Под деревом Флори снял панаму, обмахивая лицо.

– Что ж, мы успели вернуться до самой зверской жары. Боюсь только, экскурсия по базару не слишком удалась.

– И вовсе нет! Было действительно забавно.

– Ох, не уверен. Как-то не везет, все время что-то не так. Да, кстати, вы не забыли – послезавтра мы едем на охоту. Готовы?

– Разумеется! И дядя обещал дать мне его ружье. С ума сойти! Вы непременно научите меня стрелять и все такое. Мне так хочется поскорей!

– Мне тоже. Не лучшие деньки для охоты, но будем надеяться. А пока до свидания?

– До свидания, мистер Флори.

Она все еще называла его официально, хотя он ее просто – Элизабет. В предстоящей поездке, оба чувствовали, многое между ними определится.

Неспешно расхаживая по своей темной зашторенной гостиной, потев в липкой дремотной духоте, то и дело почесывая жирную, как у рыночной торговки, грудь, У По Кин похвалялся перед супругой. Жена сидела на циновке, курила тонкую белую сигару. Через раскрытую дверь в спальню виднелся угол монументального, торжественного как катафалк, ложа, на котором великое множество раз судья тешил плоть сладострастным насилием.

Ма Кин услышала, наконец, про то самое «другое дело», которое побудило мужа начать атаку на доктора Верасвами. Презируя женский ум, глава семьи все же рано или поздно открывался своей половине, ибо в ближайшем окружении лишь она одна нисколько его не боялась и было особенно приятно поражать, восхищать именно ее.

– Ну, Кин-Кин, смотри, все по плану! Восемнадцать писем, одно лучше другого. Я б тебе даже кое-что почитал, умей ты оценить.

– А если белые не обратят внимания?

– Не обратят? Х-ха! Еще как, еще как обратят! Уж я-то их натуру знаю и, скажу тебе, насчет таких письмишек я мастак, сочиню всегда в точности, чтобы их пронять.

Действительно. Письма уже успели растревожить адресатов, наиболее впечатлив важнейшего их них – мистера Макгрегора.

Два дня назад представитель комиссара весь вечер беспокойно размышлял относительно возможной измены доктора. Соппротивление властям, разумеется, исключено, но сколь надежны внутренние убеждения? В Индии судят не по тому, что вы делаете, а по тому, кто вы; тень нелояльности мгновенно губит карьеру. Впрочем, мистер Макгрегор был слишком справедлив для немедленных обвинений даже уроженца Востока. Так что и за полночь он все еще сидел над грудой секретных бумаг, включая пять анонимных писем, полученных им лично, и два скрепленных иголкой кактуса письма из почты начальника полиции.

Не утихали также слухи и пересуды, кроме политической измены вменявшие доктору в вину пытки, взятки, насилия, незаконные хирургические операции, а также хирургическую практику в пьяном виде, убийства посредством ядов и магии, нарушение заповедей индуизма и попрание буддийских святынь, торговлю свидетельствами о скоропостижной смерти вследствие ангины и гомосексуальные

преследования юного военного барабанщика. Приученный к доносам, мистер Макгрегор поначалу равнодушно воспринимал эту единоличную сумму пороков Макиавелли, Джека-потрошителя и маркиза де Сада, однако последняя анонимка нанесла удар подлинно великолепный.

Дело касалось сбежавшего бандита. Отсидев уже несколько лет, разбойник Нга Шуэ О давно готовился к побегу, и друзья на воле сумели подкупить охранника. С авансом в сто рупий тюремный страж отпросился в деревню хоронить бабушку и неделю блаженствовал в мандалайских борделях. Затем вернувшийся к службе, но тоскующий по борделям охранник решил еще подзаработать, выдав преступный план судье. У По Кин случай, конечно, не упустил – сторожу, пригрозив, велел до конца жизни молчать, а в самую ночь побега письменно уведомил главу округа о лихом злоумышленном сговоре, во главе которого был назван, разумеется, тюремный начальник, известный мздоимец Верасвами.

Утром в тюрьме поднялся тарарам, полиция и конвоиры носились, обыскивая каждый закоулок (Нга Шуэ О уже далеко уплыл в заботливо приготовленном судьей сампане). Мистер Макгрегор был сражен. Кем бы ни являлся анонимщик, на сей раз донос подтвердился и сговор безусловно имел место. А коль скоро есть основания подозревать доктора во взятках, то – логика не совсем строгая, но вполне ясная представителю комиссара, – значительно вероятней и скрытая политическая неблагонадежность.

Одновременно У По Кин обрабатывал прочих белых. Отогнать от Верасвами гаранта его престижа, трусливого дружочка Флори не составляло труда. Сложнее было с Вестфилдом; у начальника полиции имелось немало информации насчет местных делишек, к тому же полицейские извечно ненавидят судебных. Но даже такой расклад судья смог обернуть себе на пользу – очередная анонимка винила доктора в союзе с отъявленным мерзавцем и вымогателем У По Кином. Это Вестфилда убедило.

Эллису писать было незачем, он и без понуждений рвался съесть доктора живьем. Зато одно из писем знаток европейских душ не поленился направить миссис Лакерстин. Чувствительной (и влиятельной) леди кратко сообщалось, что Верасвами подстрекает аборигенов похищать и насиловать белых женщин; детали не понадобились, так как «мятеж», «пропаганда», «националисты» рисовались миссис Лакерстин одной жуткой, порой до утра не дававшей уснуть, картиной сверкающих глазами и яростно срывающих с нее платье смуглых грузчиков.

– Видишь? – самодовольно подытожил У По Кин. – Я его подрубил со всех сторон, осталось толкнуть мертвое дерево. Вот недельки через три и

толкну.

– Как это?

– Ладно, расскажу тебе. Смыслишь ты мало, но рот на замке держать умеешь. Слышала ты про бунт, который затевают в Тхонгве?

– Ой, глупые крестьяне, куда им с их дахами и копьями? Всех индийский солдат постреляет.

– Ясное дело! Начнут беситься – перебьют. Ишь, темнота, рубах, которые пуль не боятся, накупили. Тупая деревенщина!

– Бедные люди! Почему ты их не остановишь? Просто скажи, что все тебе, судье, про них известно, они сразу притихнут.

– Ну, я, конечно, мог бы, мог бы. Но уж не стану, нет! Только смотри, молчи, жена, – мятеж-то мой. Я сам его готовлю.

– Ты!!

Сигара выпала изо рта Ма Кин, узкие глаза в ужасе округлились.

– Что ты такое говоришь? Ты и мятеж? Этого быть не может!

– Может, может. И пришлось-таки мне похлопотать. Колдуна этого нашел в Рангуне – отменный плут, факир, всю Индию с цирком объехал, рубахи от пуль мы с ним на распродаже по полторы рупии сторговали. Деньжат-то, я тебе скажу, порядочно ушло.

– Но мятеж! Битва, кровь, столько людей убьют! Ты не сошел с ума? Ты не боишься, что и тебя застрелят?

У По Кин оцепенел от изумления.

– Святые небеса! О чем ты, женщина? Я, что ли, буду бунтовать? Я, испытанный, вернейший слуга правительства? Ну, ты надумаешь! Я тебе говорю, что здесь мои мозги, а не участие. Шкуры пускай дырявят олухам деревенским. Про мое к этому касательство только двоим-троим надежным человечкам известно, я чист как стеклышко.

– Но ведь ты подговаривал взбунтоваться?

– А как же? Если Верасвами изменник, то должен я для доказательства всем показать мятеж? А? Должен или нет?

– Ох, вот оно что! И потом ты скажешь, что доктор виноват?

– Наконец-то дошло! Я этот... слово еще у Макгрегора такое длинное?... да, про-во-ка-тор. Умный провокатор, понимаешь? Э-э, где тебе. Сам разжигаю дураков, сам и ловлю. Чуть забурлят, а я их хоп! и под арест. Кого повесят, кого в каторгу, а я – я буду первый, кто бросился в бой со злодеями. Бесстрашный благородный У По Кин, герой Кьяктады!

Улыбнувшись и приосанившись, судья вновь принялся прохаживаться вперевалку туда-сюда. После некоторых молчаливых размышлений Ма Кин сказала:

– Все-таки не пойму, зачем?

– Пустая твоя голова! Не помнишь разве, как я говорил – мне Верасвами поперек дороги. Что бунт его рук дело, может, не докажешь, но все равно доверие он потеряет, это точно. А когда он вниз – я наверх, ему больше позора – мне больше чести. Теперь ясно?

– Ясно, что ум у тебя насквозь злой. Не стыдно даже все это мне рассказывать.

– Давай-давай! Давно не причитала?

– И почему тебе хорошо только, если другим вред? Ты подумай, как будет доктору, когда его уволят, как будет тем несчастным деревенским, которых застрелят или выпорют до полусмерти, или в тюрьму посадят на всю жизнь. Что тебе с этого? Денег все мало?

– Деньги! Кто про деньги? Пора бы сообразить, что бывает кое-что поважнее. Слава. Величие. А вдруг сам губернатор орден к моей груди приколет? А? Не гордилась бы такой честью?

Ма Кин грустно покачала головой.

– Когда ты вспомнишь, что не вечный? Станешь вот жабой. Или еще хуже. Священник наш сам читал в англичанских святых книгах, как тысячи веков два огненных копия будут терзать грешное сердце, а потом еще тысячи веков всяких других казней. Не страшно?

У По Кин, смеясь, ладонью прочертил в воздухе волну, что означало «пагоды! пагоды!».

– Хорошо б тебе перед смертью так смеяться, – вздохнула жена. – А мне и смотреть на тебя больше не хочется.

Дернув худым плечиком, она снова зажгла сигару и отвернулась. Супруг еще немного походил, потом, остановившись, заговорил очень серьезно, даже с некой застенчивостью:

– Слушай, Кин-Кин, я тебе одну вещь скажу, никогда никому не говорил, сейчас скажу.

– Не буду слушать про новое зло!

– Нет-нет. Ты вот все спрашиваешь «для чего?», думаешь, я хочу прихлопнуть Верасвами, потому что ненавижу таких чистюль. Не только потому. Еще есть что-то.

– Что ж такое?

– Не мечтаешь ли ты иной раз как-то подняться? Не обижает тебя, что наши, вернее мои, успехи как-то и не заметны? Ну, накопил я много тысяч рупий, да, много, а гляди на этот дом – очень отличен от простой хибары? Надоело есть деревенскую еду, общаться с туземной шушерой. Богатства мало, я хочу другого положения. А ты?

– Не знаю, чего тут еще хотеть. Мне, когда я еще жила в деревне, такие дома и не снились. Вон стулья наши, я на них хоть не сажусь, а любоваться-то какая гордость!

– Кх! В деревне тебе и место, бадьи на голове таскать. Но мне, хвала небу, честь дорога, и я намерен получить что-то замечательное. Самое лучшее и достойное! Поняла уже, о чем я?

– Н-нет.

– Думай, думай! Мечта всей моей жизни! Догадалась?

– Ой, знаю – ты хочешь купить автомобиль. Но уж не жди, По Кин, что я туда усядусь.

У По Кин горестно воздел руки.

– Автомобиль! Твоих мозгов орешки продавать не хватит! Да я бы купил двадцать автомобилей, если бы захотел. На что они здесь? Нет, у меня грандиозный замысел.

– Про что?

– Про что! Белым вскоре надо принять в свой клуб какого-нибудь азиата. Очень не хочется, но им от комиссара приказ, так что уж выберут. Кого? Естественно, намечен самый крупный здешний чиновник азиат, стало быть Верасвами. Ну а если он весь замаран, то...

– Ну?

У По Кин смотрел на жену, и в его жирном лице с огромной хищной пастью вдруг проступило робкое умиление. Даже рыжие глазки увлажнились. Тихо, почти благоговейно он произнес:

– Не видишь? Не понимаешь, что тогда выберут меня?

Эффект был шоковый. Ма Кин, казалось, онемела. Все прежние триумфы мужа разом померкли.

И в самом деле. Заповедный, недостижимый как нирвана, клуб европейцев! По-Кин – голопузый нищий малыш, базарный воришка, мелкий писарь, рядовой туземный чиновник – сможет войти в таинственный великий храм и запросто болтать с белыми, пить из бокала виски, гонять палочкой шарики по зеленому столу! И деревенская Ма Кин, увидевшая свет сквозь щель соломенной лачуги, будет сидеть, взгромоздясь на стул, в тесных чулках и жмущих туфлях с каблуками (высокими каблуками!), сидеть и, повторяя несколько слов индийского жаргона, беседовать с белыми леди о пленках! Да, такое любого ослепит.

Ма Кин надолго замолчала, приоткрыв губы, зачарованно представляя волшебную европейскую роскошь. Впервые за всю жизнь интрига мужа не вызвала ее неодобрения. Что ж, вероятно, это было даже потруднее чем прорваться в клуб европейцев – разбудить честолбие кроткой,

непритязательной Ма Кин.

Пропустив у ворот чумазных оборванцев, тащивших завернутое в дерюгу тело к неглубокой яме в лесу, Флори пошел через голый, твердый как камень, больничный двор. Окружавшие двор широкие террасы были забиты тихо и неподвижно лежавшими на голых койках больными. Между подпорками террас дремали или грызли блох шелудивые дворняги, по слухам, кормившиеся отходами хирургических операций. Все выглядело ветхо и неряшливо. Боровшийся за гигиену начальник не мог одолеть пыль, недостаток воды, лень санитаров и невежество фельдшеров. У доктора, сказали Флори, сейчас амбулаторный прием

Обстановка приемного кабинета ограничивалась покрытыми штукатуркой стенами, столом, парой стульев и выгоревшим, криво висевшим портретом королевы Виктории. Вдоль стены ежились, дожидаясь своей очереди, крестьяне в линялых тряпках. Доктор, без пиджака, мокрый от пота, с обычным суетливым восторгом встретил Флори, усадил, подвинул ему пачку сигарет.

– Какой восхитительный визит, друг мой! Располагайтесь, отдыхайте! Если тут, эххе-хе-хе, возможно отдохнуть. Мы пойдем ко мне, там уж поговорим как полагается, с пивом и прочим. Только, простите великодушно, я должен принять население.

Минуту спустя Флори уже плавился, задыхаясь в спертом раскаленном воздухе. Один за другим подходили пациенты. Доктор вспрыгивал со стула, сыпал вопросами на ломаном бирманском, вертел человека, прижимался смуглым ухом к спине, груди, снова прыгал к столу и торопливо строил рецепт. Потом по этим рецептам аптекарь в своей каморке выдавал крестьянам разнообразно окрашенную воду, поскольку с жалованием в двадцать рупий поддерживал себя подпольной продажей медикаментов (для доктора аптекарский бизнес, разумеется, оставался тайной).

Нередко ввиду срочных хирургических дел амбулаторные осмотры поручались фельдшеру, чья метода отличалась быстротой и крайней простотой. После ответа на единственный вопрос: «Где болит: голова, кости, брюхо?» пациенту немедленно вручалась бумажка из трех заготовленных стопок. Больные, надо сказать, предпочитали фельдшера, который не пытал их всякими неприличными вопросами и никогда не предлагал операцию – до смерти пугавшую «живорезку».

Проводив последнего пациента, доктор откинулся на стуле,

обмахиваясь рецептурным блокнотом.

– Ахх, жара! Этот чеснок меня доконает! А вы еще дышите, мистер Флори? У англичан чрезвычайно чувствительное обоняние. Как вам наверно тяжело на нашем пахучем Востоке!

– Предлагаю вывесить над Суэцким каналом предупреждение «Заткни нос, всяк сюда входящий!». Вы очень заняты?

– Как всегда. Но знали бы вы, друг мой, сколько препон врачу в этой стране! Невежество крошечное! Крестьян в больницу не заманишь, им лучше гангрена или опухоль с арбуз, чем нож хирурга. А чем лечат их «знахари»? Травой, собранной в новолунье, усами тигра, толченым рогом носорога, мочой, менструальной кровью! Как только они эти эликсиры в рот берут.

– Однако довольно живописно. Вам бы надо составить атлас бирманской фармакопеи.

– Стадо варваров, стадо варваров! – восклицал доктор, не попадая в рукава полотняного пиджака. – Зайдем ко мне? По-моему, что-то от льда еще осталось. А к десяти мне обратно, экстренное удаление грыжи.

– Спасибо, доктор. Я ненадолго.

На веранде у доктора хозяин, огорченно обнаружив в холодильном чане вместо льда болото мокрой соломой, вытащил качавшуюся бутылку пива и с беспокойством крикнул слугам срочно пополнить ассортимент напитков. Флори, не снимая панамы, стоял у перил. Пришел он, чтобы извиниться. Со дня, когда в клубе был вывешен хамский протест против приема аборигена, он друга не навещал. Однако совесть взяла свое. Психолог У По Кин все-таки не совсем точно оценивал малодушного Флори.

– Доктор, вам ведь известно, о чем я должен сказать?

– Мне? О чем?

– Ну, не притворяйтесь. Я был свиньей, подмахнув в клубе ту бумажонку. Это, конечно, не секрет для вас, но я хотел бы объяснить...

– Нет-нет, друг мой, нет-нет, не объясняйте! – Доктор заметался по веранде. – Вы не должны, я все-все понимаю

– Да нет, вам не понять, как идешь на такие пакости. Никто меня не пугал, не вынуждал, официально нам даже предписано дружелюбие к туземцам. Но только очень уж рискованно малый пойдет за местного против своих. Не принято. Посмей я отказаться, получил бы пару недель обструкции от сотоварищей. Так что я как обычно сдрейфил.

– Мистер Флори, мистер Флори! Пожалуйста! Не продолжайте, не смущайте меня. Как же иначе на вашем месте? Разве я не понимаю!

– Да уж, вы знаете наш лозунг «помни – и в Индии ты англичанин!».

– Конечно же, конечно. А также ваш благороднейший девиз «держаться плечом к плечу!» – вот где суть британского превосходства над Востоком.

– Ну, девизами подлость не оправдаешь. Я-то пришел сказать, что никогда больше...

– Друг мой, я просто умоляю оставить эту тему! Пройдено и забыто. Пожалуйста, пейте пиво, пока не нагрелось. Вы, между прочим, не спросили о новостях.

– А! Выкладывайте. Как там старушонка Империя, не окочурилась?

– Плоха, плоха, ой как плоха! Хотя, пожалуй, мне, друг мой, еще хуже. Иду ко дну.

– Что? Снова У По Кин, туша зубастая, сплетни распускает?

– Если бы только сплетни. Теперь нечто просто дьявольское. Вы слышали про тлеющий в деревне бунт?

– Слыхал что-то. Вестфилд мечтал всех перерезать, но, бедняга, не нашел кого. Вроде бы крестьяне подачью недовольны.

– А знаете сумму налога? Пять рупий! Ослы несчастные, конечно, поворчат и заплатят, обычная история. Но бунт, якобы бунт – о! Мистер Флори, вы должны знать, за всем этим кроется нечто большее.

– Неужели?

Беззлбный доктор вдруг так свирепо стукнул стаканом о стол, что расплескал свое пиво.

– Негодяй У По Кин! Слов нет! Зверь! Крокодил! Это, это же...

– Так-так, продолжайте: бревно с клыками, клизма с ядом, сундук с навозом! Еще что?

– Нет, немыслимая подлость!

И доктор довольно полно описал замыслы У По Кина, за исключением плана судьи пробиться в клуб. Темнокожее лицо доктора, которое, как считалось, не могло менять оттенков, посинело от гнева.

– Вот жирный черт! Кто бы подумал? Но откуда вы узнали?

– Ахх, есть еще несколько верных людей. Теперь вы видите, друг мой, что мне грозит? Он уже облил меня грязью, а если, не дай бог, разгорится нелепый мятеж? Облачко подозрения, что я хотя бы сочувствую бунтовщикам, и я погиб. Погиб!

– Черт возьми, это же смешно! Как-то ведь можно защититься.

– Как? Ничего не докажешь. Потребую я официального расследования, так он на каждого моего свидетеля выведет сотню своих. Весь округ перед ним трепещет.

– А зачем и доказывать? Пойдите расскажите все Макгрегору, он парень честный.

– Тщетно, тщетно, мистер Флори! Мудрый французский афоризм гласит «Qui s'excuse, s'accuse» («кто ищет оправданий, тот виновен». Жаловаться бесполезно.

– Так, что же делать?

– Ничего. Только ждать и надеяться на свою репутацию. Не профессиональную, а личную. Все зависит от отношения европейцев: доверяют – спасен, не доверяют – погиб. Вес моего престижа все решит.

Минуту стояла тишина. Флори отлично знал цену престижа в этой стране, где подозрение сильнее аргумента, а репутация важнее факта. Новое, пугающее его самого ощущение росло в нем. Наступил момент, когда вдруг ясно видится, как ты, забыв про все, должен, обязан поступить.

– А предположим, вас избрали в клуб?

– О! Клуб! Клуб это крепость, за стенами которой любые слухи обо мне значили бы не больше писка базарной мелюзги о всяком из европейских джентльменов. Но столько подозрений уже посеяно насчет меня; нет, шансы мои растаяли.

– Ладно, доктор. На следующем собрании я твердо выдвину вашу кандидатуру и, почти уверен, никто кроме Эллиса не положит черный шар. А пока...

– Ахх, друг мой, дорогой мой друг! – Чувства душили доктора, он схватил Флори за руку. – Как вы благородны! Как благородны! Однако я боюсь, не навлечет ли это на вас недовольства ваших друзей, того же мистера Эллиса?

– Да провались он! Только, доктор, я ничего не обещаю. Какую уж речь толкнет Макгрегор, какое будет настроение у прочих. Может, ничего и не выйдет.

Доктор по-прежнему сжимал руку Флори пухлой влажной ладонью. Крупные слезы, увеличенные линзами очков, блестели на карих преданных глазах.

– Ахх, если бы! И конец моим бедам! Однако будьте осмотрительны, мой друг, остерегайтесь У По Кина, вы станете ему преградой, а он опасен даже для вас.

– Не достанет! Пока что ничего не придумал кроме парочки глупых анонимок.

– Я не был бы так уверен. Он находчив и ради своих целей землю перевернет. К тому же все уязвимы, а он всегда умеет найти слабое место.

– Как крокодил?

– Как крокодил, – очень серьезно кивнул доктор. – Но клуб, друг мой! Господи! Состоять в товариществе настоящих джентльменов! Да, мистер Флори, вы, конечно, не думаете, что я претендую как-либо пользоваться клубом? Ходить в клуб, я себе, разумеется, не позволю.

– Не будете ходить?

– Навязывать джентльменам свое общество? О нет! Достаточно состоять, числиться – это высокая, высшая честь. Вы меня понимаете?

– Вполне, доктор, вполне.

К себе на холм Флори шагал, невольно посмеиваясь. Он решил непременно выдвинуть доктора. Вот шум в клубе поднимется, веселенький будет вой! Ну-ну, посмотрим! Перспектива, месяц назад страшившая, даже воодушевляла.

А почему? С чего вдруг силы на этот пусть не геройский, но вчера совершенно немыслимый смелый шаг? Откуда после долгих трусливых лет внезапно такая храбрость?

Он знал причину – Элизабет. Она явилась, и будто сгинули все эти тошнотные, горькие годы. Будто повеял ветер Англии, прекрасной Англии, где мысль свободна и не нужно выделять пируэты пакка-сахиба, наставляющего низшие расы. Одно ее существование вдохнуло силы жить достойно. «Неужто мне дано жить новой жизнью?» – вспомнилась Флори строчка из школьной хрестоматии.

«Жить новой жизнью!» – повторял он, идя по садовой дорожке. Счастье, счастье! Флори сейчас понимал богомольцев, верящих в благодатное преображение. Недавно пропитанные хандрой, и сад, и цветы, и дом, и слуги наполнились бесконечно прекрасным смыслом. Как оживает все, когда ты не один! Каким раем может стать для тебя, не одинокого, эта земля! Соблазнясь просыпанными поваром зернышками риса, Неро вышел клевать их на самый солнцепек. Таившаяся в траве Фло, выскочила из засады, и петух, захлопав крыльями, взлетел на плечо хозяину. Поглаживая шелковистый птичий гребешок, Флори вошел в дом.

Уже с порога волна скандала, жасмина и чеснока оповестила его о присутствии Ма Хла Мэй.

– Женщина вернулась, – доложил Ко Сла.

Флори поставил петуха на парапет. Лицо его побледнело, и отметина обозначилась еще резче. Под ребра ударил острый спазм. В проеме спальни появилась Ма Хла Мэй.

– Тхэкин, – глядя вниз, произнесла она требовательно и угрюмо.

– Пшел вон! – рявкнул Флори на безвинного Ко Сла.

– Тхэкин, – глухо повторила она, – пойдемте, мне надо говорить с

вами.

Они прошли в спальню. За неделю она страшно изменилась – сальные волосы, ни единого браслета, лонги из дешевого ситца да еще густо, как у клоуна, напудренное лицо с полоской смуглой кожи у корней волос. Вид уличной потаскушки. Флори старался не смотреть на нее.

– Ты зачем здесь? Почему не уехала в свою деревню?

– Я живу возле рынка, у двоюродного брата. Как я могу назад в деревню?

– И что это за посылные с наглыми письмами? Ты разве не получила сто рупий только неделю назад?

– Как я могу назад? – не отвечая на его вопрос, повторила она так звонко, что он невольно повернулся к ней, увидев горящий из-под сдвинутых бровей упрямый взгляд.

– Почему не можешь?

Тотчас голос ее сорвался в истеричный базарный крик:

– Как мне снова в деревню, на потеху глупым грязным крестьянам? Мне, которая была бо-кадау, женой белого мужчины! Таскать корзины со старыми ведьмами и уродинами, которых не взяли замуж? Чтобы такой стыд, такой позор! Два года я была ваша жена, вы меня любили, наряжали, а потом вдруг ни за что выгнали как собаку. И опять идти в дом отца, когда я нищая, без украшений, без шелковой одежды? А люди будут смеяться: «Вон эта Ма Хла Мэй, которая думала, что умней всех, глядите на нее! Белый мужчина прогнал ее, как все они всегда!». Несчастливая я! Вы взяли мою молодость, что мне теперь? Кто на мне женится? Опозоренная я навек, навек!

Флори виновато молчал. Возразить было нечего. Как объяснить, что прежние их отношения в новой его жизни стали грехом и грязью? Пятно на щеке темнело, будто в лицо плеснули чернил. Интуитивно возвращаясь к вопросу о деньгах (что всегда имело успех с Ма Хла Мэй), он решительно сказал:

– Ладно, я буду давать тебе деньги. Ты получишь пятьдесят рупий, которые просила, потом еще. Но до следующего месяца у меня ничего нет.

Это было чистой правдой. Сто рупий ей на прощание и срочное обновление гардероба практически истощили его наличность. К ужасу Флори, Ма Хла Мэй издала пронзительный вопль, белая маска пудры сморщилась, хлынули слезы, и девушка рухнула на колени, уткнувшись лбом в пол.

– Вставай, вставай! – Его всегда просто трясло от подобной демонстрации смирения, этой покорно согнутой шеи и спины, словно

ожидающей удара. – Я смотреть не могу, вставай сейчас же!

Она вновь завопила и попыталась обнять его лодыжки. Он отшатнулся.

– Встань, прекрати! Ну что за рев?

Чуть приподняв голову, она закричала: «Вы мне про деньги? Думаете, я за ними опять пришла? Что мне только деньги нужны?». – «А что тебе?», – с безопасного расстояния спросил Флори.

– За что вы меня ненавидите? Какое зло я сделала? Украла ваш портсигар, но вы же не потому сердились, вы хотите жениться на белой женщине, я знаю, и все знают! Но зачем выгонять меня, зачем ненавидеть?

– Нет никакой ненависти, все совсем не так. Вставай, пожалуйста.

Она рыдала как дитя; что ж, ведь она и впрямь была почти ребенком. И сквозь слезы тревожно наблюдала за выражением его лица, ища признаков милости. И внезапно – дичайший поворот! – опрокинулась навзничь, предлагая себя во всех бесстыдных подробностях.

– Поднимись! – заорал он по-английски. – Поднимись, мне противно!

Тогда она червяком, оставляя на пыльном полу темный след, поползла к его ногам и замерла, униженно простершись ниц.

– Хозяин, хозяин, – скулила она, – простите, возьмите Ма Хла Мэй обратно. Я буду вашей рабой, вашей собакой, чем хотите, только не прогоняйте!

Она гладила, целовала его ступни, а он беспомощно стоял, руки в карманах, оцепенело глядя вниз. В комнату вбежала Фло, ткнула нос в складку женского платья, признала запах и неопределенно замахала хвостом. Флори, очнувшись, поднял Ма Хла Мэй на ноги:

– Ну-ка, давай, успокойся, незачем скандалить. Я постараюсь тебе помочь.

Она с новой надеждой закричала: «Вы примете меня? Хозяин, никто не узнает! Белая леди будет думать, что я жена кого-нибудь из слуг. Возьмете меня снова?»

– Не могу. Это невозможно, – отодвигаясь, сказал он.

В тоне прозвучала не оставлявшая сомнений твердость. Раздался страшный крик, и Ма Хла Мэй вновь бухнулась на колени, лбом в пол. Это было ужасно. И ужаснее всего, что униженные, раболепные мольбы не содержали ни капли любви к нему. Душераздирающий плач лишь об утраченном положении праздной, нарядной, помыкающей слугами наложницы. Что-то невыразимо жалкое. Горе без тени благородства вызывает еще более тягостную боль. Он наклонился и опять поднял ее

– Послушай, Ма Хла Мэй, ты никакого зла мне не сделала, это я перед

тобой виноват. Но что ж теперь. Иди домой, я буду давать деньги, сможешь завести лавку на базаре. Красивая, с деньгами, наверняка найдешь мужа.

– Несчастливая я! – рыдала она. – Я убью себя, утоплюсь! Как мне жить после этого позора?

Он почти ласково придерживал ее, черноволосая головка лежала у него на груди, в ноздри бил запах сандала. Возможно и сейчас, жалобно прижимаясь, она все-таки уповала на верную магическую власть женского тела. Флори с осторожностью отстранил ее:

– Ну-ну, хватит, постой минутку. Я сейчас.

Вытащив из-под кровати сундук, он отсчитал обещанные полсотни рупий. Она молча спрятала их за пазухой. Плач прекратился. Уйдя на минуту в ванную, она вышла умытая, с приглаженными волосами. Хмуро, но без истерики спросила:

– Так вы не примете меня, тхэкин? Нет?

– Нет, прости.

– Тогда я пойду, тхэкин?

– Да-да. Удачи тебе и счастья.

Прислонясь к столбику крыльца, он смотрел, как она уходила. Каждая линия ярко освещенной фигурки была напряжена жестокой обидой. Она сказала правду – он украл ее юность. Его познабливало. Неслышно подошедший Ко Сла деликатно кашлянул.

– Что еще?

– Завтрак остывает, наисвятейший.

– Не хочу я. Выпить принеси, давай джин.

«Неужто мне дано жить новой жизнью?»...

Два каноэ гнутыми иглами неслись по ленте притока Иравади – Элизабет и Флори спешили на охоту. Поскольку было невозможно вдвоем ночевать в джунглях, предполагалось пару часов пострелять и к ужину вернуться.

Узкие лодки из цельных стволов скользили, едва колебля воду, тонкой темной полоской прорезавшую заросли сочных болотных гиацинтов с лиловыми цветами. Сквозь нависавшую листву струился зеленоватый свет. Порой раздавались крики попугаев, но зверье не показывалось, лишь метнулась через проток юркнувшая под листья гиацинтов змея.

– Еще долго до деревни? – крикнула Элизабет Флори, который плыл сзади в большом каноэ вместе с Фло, Ко Сла и махавшей веслом морщинистой старой туземкой.

– Далеко еще, бабушка? – спросил Флори.

Вынув сигару изо рта, старуха задумалась, потом ответила: «Как человек может кричать».

– Полмили, – перевел Флори.

Проехали две мили. Спина у Элизабет затекла. В неустойчивой лодке приходилось сидеть на узкой перекладине не шевелясь и поджимать ноги, чтобы не коснуться катывавшихся по днудохлых креветок. Гребцу Элизабет было лет шестьдесят, но крепкое полуголоое тело не утратило молодую статью, пожилое лицо светилось смешливой мягкостью, а густой гриве хвостом свисавших на ухо волос могли бы позавидовать многие бирманки. Элизабет бережно держала лежавшее поперек колен, впервые взятое в руки ружье. Оставить его с прочим снаряжением в лодке Флори она наотрез отказалась. На ней были грубые башмаки, прочная полотняная юбка, мужского фасона блуза и, разумеется, панاما, и она знала, что это ей идет. Вообще, несмотря на ломившую спину, испарину и вившихся вокруг крупных пестрых москитов, она была совершенно счастлива.

Русло сузилось, заросли гиацинтов уступили место лепешкам глянцево шоколадной грязи. Показалась стайка шатких покосившихся хижин на высоких сваях. Голый, по колени в воде мальчонка, который развлекался, управляя виражами привязанного ниткой гудящего зеленого жука, воплем извещал о приезде белых, и мигом невесть откуда гурьбой сбежались ребятишки. Гребец, подведя каноэ к служившему причалом толстому, обросшему ракушками бревну, закрепил лодку и помог Элизабет

перебраться на берег. Затем выгрузились остальные, в том числе Фло, привычно спрыгнувшая в доходившую ей до шеи жидкую грязь. Навстречу гостям, низко кланяясь и подзатыльниками склоняя головы ребят, вышел тощий старец в малиновом пасо, с красовавшейся возле носа родинкой, из которой вилось три длинных сивых волоса.

– Деревенский староста, – пояснил Флори.

Странной приседающей походкой (результат ревматизма и постоянных выражений почтения властям) староста повел гостей к себе. Европейцев неотступно сопровождала толпа детей и все прибывавшая стая твякающих собак, чрезвычайно взволнованных появлением оробевшей, жавшейся к хозяйским ногам Фло. Со всех порогов на «английку» простодушно глазели круглые смуглые лица.

Это была одна из прятавшихся в сумраке джунглей деревушек, на протяжении дождливого сезона – крохотных лесных Венеций с каное вместо гондол. Дом старосты отличался от прочих хижин несколько большим размером и крышей из рифленого железа. Невыносимо грохотавшая в дождь крыша являлась главной гордостью владельца, хотя эти тщеславные расходы сильно уменьшили его вклады в строительство святилищ и, соответственно, шансы на нирвану. Торопливо взобравшись на крыльцо и пнув в бок спавшего под навесом парнишку, староста, с очередным нижайшим поклоном, пригласил гостей войти внутрь.

– Зайдем? – предложил Флори. – Полагаю, нам еще полчасика дожидаться.

– А на веранде посидеть нельзя? – возразила Элизабет, после чаепития у Ли Ейка решившая всячески избегать посещения туземных гостиных.

В доме засуетились, и вскоре какие-то женщины доставили на террасу два стула, изобретательно украсив их пунцовыми цветками мальвы, а также кустиками росших в консервных банках бегоний и таким образом превратив в некий двойной трон. Староста притащил чайник, связку длинных ярко-зеленых бананов и полдюжины черных сигар, но уж на чашку налитого ей чая, памятуя тех же китайцев, Элизабет даже не взглянула.

Смущенно потирая нос, староста спросил у Флори, не желает ли молодая тхэкин-ма молока для чая (он что-то слышал про английский чай с молоком), а то можно быстро сбегать, поймать корову и подоить ее? Однако Элизабет, твердо отвергнув чай, попросила одну из припасенных в их мешках бутылок содовой, которую тут же принес Ко Сла. Староста при столь явном неудовольствии важных гостей, виновато ретировался.

Прислонясь к столбику навеса, Флори изображал, что курит

преподнесенную хозяином сигару, а Элизабет, так и не выпуская из рук прекрасного ружья, сыпала вопросами:

– Скоро уже? А патронов у нас хватит? А сколько загонщиков? Как я мечтаю об удаче! Думаете, сможем кого-нибудь подстрелить?

– Какую-нибудь мелочь, надеюсь, собьем. Парочку голубей или диких кур, их во все сезоны полно. Хотя местные предупреждают, что сейчас тут и леопард бродит, на прошлой неделе вола загрыз.

– Леопард! Вот бы счастье – застрелить леопарда!

– Боюсь, маловероятно. Главное правило здешней охоты в том, чтобы ни на что не рассчитывать. Всегда впустую. Джунгли кишат дичью, но порой и ружье не вскинешь.

– Почему?

– Сплошные заросли, добычу в пяти шагах не различишь, а если и заметишь, так на долю секунды, – вмиг исчезнет. Притом вода всюду, и прочных мест обитания нет. Бродяги тигры, бывает, уходят за сотни миль. И все зверье необычайно чуткое, подозрительное. Я в молодости ночи напролет высиживал в засадах возле тухлых коровьих туш – ни один чертов тигр не приблизился.

Элизабет, весело ежась, передернула лопатками. Любые полслова об охоте радовали ее; в минуты подобных рассказов Флори ей нравился, по-настоящему нравился. Вот если бы вместо дурацких книг, всего этого свинского искусства он говорил бы о засадах! В приливе восхищения она залюбовалась им, таким эффектным, таким мужественным, в распахнутой у горла полотняной рубашке, армейских шортах и высоких охотничьих ботинках, с красивым загорелым профилем (меченая щека была не видна).

– Еще, еще про тигров, – ласково потребовала она. – Ужасно интересно!

Он рассказал, как убил год назад паршивого старого людоеда, разорвавшего одного из его кули. Засада на дереве в мачане, жужжание несметных moskitov, приближавшиеся из темноты парой зеленых фонарей звериные глаза, храп и чавканье хищника, явившегося дожрать оставленный для приманки труп носильщика. Флори обрисовал сцену во всех натуралистичных деталях (может, ей надоест, наконец, эта охотничья экзотика?), но она вновь лишь восторженно передернула спиной. Загадочное средство оживлять ее, вызывать ее симпатию! На тропинке, возглавляемые жилистым седым стариком, показались шестеро пышноволосях парней с длинными дахами на плечах. Один из них что-то крикнул, выглянувший староста объявил, что загонщики готовы и, если молодую тхэкин-ма не смущает жара, можно идти.

Они отправились. Со стороны леса деревушку крепостной стеной защищала полоса кактусов шестифутовой высоты. Сквозь узкий проход в кактусах вышли на избитую колеями телег пыльную дорогу, с двух сторон окруженную гущей стройного как флагштоки бамбука. Держа широкие дахи наготове, проводники быстро шагали друг за другом, последним, прямо перед Элизабет шел старик охотник. Высоко подтянутое лонги демонстрировало худые бедра, покрытые столь сложной узорной татуировкой, что это походило на трико из плетеного синего шнура. Поперек дороги свесился ствол бамбука в руку толщиной, шедший впереди парень одним взмахом ножа снизу перерубил его; из полого обрубка плеснула, алмазно сверкнув, вода. Через полмили, заливаясь потом, ибо солнце жгло нещадно, вышли в поля. Уныние плоского, разрезанного нитями грязи на личные участки, сохлого жнивья оживлялось лишь пятнышками снежно-белых цапель. «Вон там намечена охота», – показал Флори вглубь равнины, где крутым утесом вздымались темневшие джунгли. Загонщики отошли в сторону, к деревцу, напоминавшему боярышник. Один из парней, опустившись на колени, что-то забормотал, старик достал бутылку и покропил у корней мутноватой жидкостью; остальные строго и набожно наблюдали церемонию.

– Это еще что? – удивилась Элизабет.

– Смирненное обращение к местным богам, «нэтам», своего рода дриадам. Просьба о даровании удачи.

Вернувшийся старик сурово – видимо, по велению божества – прокаркал, что перед заходом в джунгли требуется немного выбить поле, и, махнув дахом, указал Флори и Элизабет, где им ждать. Парни плюхнулись на землю, приготовившись сидячим хороводом утрамбовать пятак рисовой стерни. Уйдя к лесу, Элизабет и Флори стали в тени предваряющих джунгли кустов; Ко Сла в некотором отдалении, нагнувшись, держал за ошейник Фло (на охоте слуге всегда приказывалось отойти ввиду его мерзкой привычки удрученно щелкать языком при каждом неточном выстреле). Слышались возгласы и гул трамбовки. Выпорхнув из леса, на ветку совсем рядом спланировала изысканная, глянцево алая, с серыми крыльями пичуга чуть больше дрозда. Вдруг гущу соседних кустов заколыхало, словно от возни какого-то крупного животного. Дрожащими руками вскинув дуло, Элизабет попыталась прицелиться. Увы, из куста показался смуглый загонщик, который, оглядевшись, криком позвал товарищей. Девушка опустила двустволку.

– Я думала, там зверь ворочался! – досадовала она.

– Не расстраивайтесь, сразу никогда не выходит. Еще повезет.

Перейдя топкую, кочковатую границу поля, они заняли позицию на опушке. Элизабет уже выучилась заряжать. В напряженной тишине Ко Сла резко свистнул.

– Внимание! – крикнул Флори. – Летят!

Горсткой запущенных в небо камешков взвилась стайка зеленых голубей. Девушка ахнула и стала яростно, безрезультатно дергать курок, позабыв снять предохранитель. Но наконец ей удалось нажать оба курка – грянул выстрел, Элизабет отбросило с ощущением сломанной ключицы. Краем глаза она увидела, как Флори, поворачивая дуло, целится в тающую стайку. Пара голубей, словно ударившись о что-то, штопором полетела вниз. Ко Сла торжествующе завопил.

– Внимание! – снова предупредил Флори. – Королевский голубь! Давайте-ка его!

Элизабет, еще переживая свою неудачу, лишь наблюдала, как руки спутника загоняют в ствол патрон, вскидывают ружье и с хлопком изрыгается дымок. Крупная птица тяжело упала, подмяв перебитое крыло. Фло расторопно доставила в зубах жирную тушку, Ко Сла принес в сумке двух подстреленных раньше зеленых голубков.

Осторожно вынув хрупкий трупик, Флори показал его девушке:

– Смотрите, какая птичка – самая красивая в Азии.

Кончиками пальцев Элизабет погладила добычу. Несмотря на обуревавшую зависть, она сейчас просто обожала ловкого, меткого Флори.

– И перышки на грудке, видите? Перламутр! Преступно губить такую красоту. Бирманцы говорят, что тошно охотиться на этих пташек, будто говорящих: «Я мал, я ничем тебя не обидел, зачем же меня убивать?». Впрочем, я и не замечал, чтоб местные на них охотились.

– А они вкусные?

– Весьма. Хотя, сшибая их, я всегда сам себе противен.

– Мне так хочется научиться стрелять, как вы!

– Скоро научитесь, ружье вы уже держите очень здорово для новичка.

Однако два следующих выстрела Элизабет прогрохотали впустую. Стрельбу из обоих стволов она освоила, но пока не умела точно прицелиться. Флори ухлопал еще несколько птах, в том числе бронзового голубка с изумрудной спинкой. Лесные куры не показывались, хотя то и дело слышалось их кудахтанье и пару раз прогорланил дикий петух. Шли теперь в настоящих джунглях, в сумраке с ослепительными проблесками солнца. Куда ни глянь, древесная стена, чащоба низкой поросли и волнами вздымавшееся у стволов плетение цепких лиан, иные из которых змеились толстыми удавами. Идти было примерно так, как сквозь бескрайнюю

плантацию ежевики. Глаза устали от густой путаницы веток и стеблей, ноги соскальзывали на влажных кочках, одежда цеплялась за колючки, рубашки пропитались потом. Парило, удушало испарением опавшей гнили. Иногда несколько минут пронзительно, будто непрерывно дергая стальную струнку, звенели цикады и внезапные паузы поражали тишиной.

Наконец, (это была уже пятая из намеченных позиций) продрались к огромной смоковнице, в кроне которой протяжно стонали, напоминая мычание далекого стада, королевские голуби.

– Попробуйте одним махом, – сказал Флори Элизабет. – Установив мушку, тотчас палите. Не закрывайте левый глаз.

Элизабет подняла никак не желавшую неподвижно застыть двустволку. Загонщики приостановились понаблюдать; кто-то, возмущаясь женщиной с оружием, не удержался и скептически щелкнул языком. Напрягшись, на миг заставив дуло не дрожать, девушка выстрелила. Оглохшая, как полагается после отдачи, она увидела беззвучно подскочившую птицу, которая закувыркалась вниз и застряла в развилке верхних сучьев, метрах в десяти над землей. Один из парней, щурясь, подошел к стволу и, обмотавшись свисающей крепкой лианой, проворно, без всяких видимых усилий полез наверх, а затем, спокойно пройдя по толстой ветке, сбросил голубя прямо в руки Элизабет.

Она держала пушистую теплую тушку, изнемогая от сладостной нежности, не в силах с ней расстаться. Все вокруг улыбались при виде ее умиления. Когда же пришлось все-таки опустить мертвого голубя в сумку Ко Сла, девушка поймала себя на безумном желании обнять Флори, прильнуть к его губам (такой вот, разбуженный самоличным убийством птички, странный порыв).

Руководивший экспедицией старик сказал, что по маршруту теперь надо перейти вырубку. Поляна ослепила светом. Раскорчеванная просека использовалась для выращивания ананасов, которые рядами щетинились в буйных зарослях сорняков. На переходе через ананасовый огород за делившей посадки низкой колючей изгородью раздалось звонкое кукареку.

– Слышали? – повернулась к Флори Элизабет. – Дикий петух?

– Он самый, как раз ему время выйти, подкрепиться.

– Хлопнем его?

– Ну, давайте попробуем. Только это хитрый бес, нужно подкрасться поближе и без шума.

Слуге и загонщикам было приказано следовать дальше, белые остались вдвоем. Согнувшись в три погибели, они ползком начали пробираться вдоль изгороди. Девушка ползла впереди, пот щекотал

верхнюю губу, сердце бешено колотилось, спутник дышал в спину, буквально наступая на пятки. Когда им показалось, что пора, оба разом привстали над изгородью. Шагах в двадцати энергично клевал что-то небольшой петух, красавец с роскошным шелковым воротом, высоким гребнем и ярко-зеленым, элегантно выгнутом хвостом; рядом топталось полдюжины его буроватых, с пучками зубчатых перьев на хвосте, значительно более мелких подруг. Но все это увиделось на секунду – вспугнутое семейство, клекоча и треща крыльями, мигом полетело к лесу. Ружье Элизабет, казалось, само вскинулось, грохнуло, опередив сознание. Причем еще до выстрела девушка знала, что петух обречен. Он кувырнулся, землю осыпало дождем широко разлетевшихся перьев. «Отлично! Отлично!» – кричал Флори, пока они, перескочив изгородь, бежали к добыче.

– Отлично! – повторил он, заразившись возбуждением своей спутницы.

– Клянусь, никогда не видел, чтобы в первый день подшибали птицу в лет! Реакция потрясающая!

Они стояли на коленях подле сбитой птицы, и вдруг заметили, что уже минуту держаться за руки. Возникло ожидание чего-то важного. Флори взял в ладонь и другую ее руку, почувствовав согласное движение нежных пальцев. Солнце светило, сердца их таяли, души уносило куда-то в радостную высь. Он медленно притянул ее к себе.

Но внезапно, резко мотнув лицом, он встал и помог ей подняться. Тихонько выпустил ее руки. Нет! Со своей щекой? Только не на свету! Заполняя нависшую паузу, Флори поднял застреленного петуха.

– Блеск! Кончена учеба, вы уже настоящий охотник. Давайте-ка закрепим опыт!

Едва они перелезли обратно, с опушки джунглей послышались крики. Два загонщика, примчавшись огромными прыжками, крайне взволнованно звали их, пытаясь пояснить спешность взмахами куда-то вдаль.

– Что? – спросила Элизабет.

– Не пойму. Увидели вроде какого-то изумительного зверя.

– Ура! Скорей!

Сквозь колючки и хрустевшие стебли ананасов, они понеслись на край просеки. Ко Сла и прочие охотники, перекрикивая друг друга, сгрудились там вокруг оборванной старухи, размахивавшей тощей рукой с сигарой. Элизабет слышала то и дело повторявшееся «чар».

– Что, что они говорят?

На Флори тем временем обрушился поток слов и бурной

жестикуляции. Выслушав, он знаком попросил тишины и объяснил Элизабет:

– Считайте, повезло! Бабулька шла сейчас через джунгли и видела, как на звук вашего выстрела из кустов высунулся леопард. Друзья наши примерно знают, где он прячется. Если поспешим, они постараются его загнать. Ну как?

– Ох, здорово! Восторг! Вот дивно было бы добыть такого зверя!

– А сознаете вы опасность? Мы, конечно, будем держаться дружно, и, надеюсь, плохого не случится, но ведь гарантий при такой пешей охоте нет. Готовы вы?

– О, ясно, ясно! Я не боюсь! Пошли скорей!

Флори кивнул. «Один останется проводником, все остальные по местам!», – приказал он загонщикам. – А ты, Ко Сла, иди с ними и возьми Фло на поводок, со мной она не успокоится».

– Ну что ж, медлить нельзя, – добавил он, обращаясь к Элизабет.

Бирманцы торопливо ушли краем леса. Тот самый парень, что лазил на дерево за голубем, нырнул в джунгли, Флори с Элизабет за ним. Коротким быстрым шагом, нагибаясь, он повел их по лабиринту следов. Низкие заросли иногда вынуждали почти ползти, часто путь преграждали поперечные канаты лиан; густая пыль под ногами позволяла двигаться практически бесшумно. Проводник вдруг остановился, прижав палец к губам. Флори вытащил из кармана четыре крупнокалиберных патрона и тихо вставил их в ружье Элизабет.

Позади слабо зашелестело, все насторожились. Раздвинув куст, неведь откуда явился юноша, почти голый, с висевшим на груди амулетом. Он покачал головой и показал направо. Между парнями произошел быстрый немой диалог, видимо, убедивший проводника. Молча отойдя ярдов на сорок и повернув, группа снова остановилась. В этот момент тишина взорвалась бешеным, жутко завывающим лаем Фло.

Плеча Элизабет коснулась настоятельно пригibasшая ладонь проводника. Все четверо присели на корточки за барьером колючих зарослей, бирманцы сзади, защищая белых охотников с тыла. Из джунглей неся невообразимый шум воплей, хлопков, стука ножей по стволам; трудно было поверить, что этот грохот создавали всего несколько человек. Перед глазами Элизабет по длинному шипу строем взбирались крупные рыжеватые муравьи, один упал ей на запястье и полез по руке, но она не смела дернуться, молитвенно повторяя: «Господи, пусть леопард выйдет! Прошу Тебя, пусть он выйдет!».

Громко зашуршало в ветвях. Элизабет подняла ружье, но Флори,

качнув головой, отвел ствол вниз. Из-под куста к соседнему кусту шумно перелетела дикая курица.

Вопли загонщиков не смолкали и, казалось, не приближались, начиная надоедать. Муравей, вскарабкавшись к плечу девушки, теперь сползал по спине. В сердце ее росло отчаяние – леопард не придет! он убежал, они потеряли зверя! лучше бы и не слышать про него! Локоть крепко сжала рука проводника. Лицо его настороженно просунулось над ее плечом, обдавая запахом кокоса, почти касаясь гладким смуглым подбородком ее щеки. Толстые губы округлились в безмолвном свисте – проводник что-то заметил. Сейчас Элизабет и Флори тоже что-то услышали, какой-то едва уловимый, как легкое дуновение, шелест. В тот же миг на тропинку, шагах в десяти от них, ступил передними лапами леопард.

В тени он выглядел не желтым, а серым. Прекрасно различались низко опущенная сплюснутая голова, оскаленный клык и устрашающе мощный плечевой горб. Зверь прислушивался. Элизабет увидела, как Флори вскочил и быстро нажал на курок. Громыкнул выстрел, отозвавшись хрустким шумом рухнувшей в зарослях тяжести. «Осторожно! – крикнул Флори. – Он не убит!» Еще один выстрел, промах, еще один. Леопард хрипел. Флори, бросив раскрытую двустволку, лихорадочно рылся в карманах. Потом вывалил все патроны на тропинку и, упав рядом, торопливо стал искать нужную пулю, чертыхаясь: «Проклятье! Ни единой крупной! Где они, дьяволы?!». Упавший в густой гуще леопард невидимо метался огромной раненой змеей, раздирая воздух диким рыдающим стоном. Крупных патронов так и не обнаружилось (остались, видно, в сумке у Ко Сла), а стонущий рев явно становился все ближе.

Бирманцы заорали: «Стреляй! Стреляй!», следующее их «стреляй!» разнеслось уже с ветвей ближайшего дерева. Шум и рев сотрясали заросли так близко, что качнулись листья куста, за которым стояла Элизабет. «Черт! – воскликнул Флори. – Он почти тут, хотя бы пуганите!». Колени Элизабет стучали, но рука не дрогнула. Она быстро, дважды, выстрелила. Рев слегка отдалился, оглушенный и все еще невидимый леопард отползал.

– Молодец! – похвалил Флори. – Вы его испугали.

– Но он уйдет! Уйдет! – кричала девушка, прыгая от волнения.

Она рванулась вслед, Флори мгновенно оттащил ее обратно.

– Ни с места! Я сейчас!

Быстро вставив пару мелкокалиберных патронов, он побежал на рычащий звук. Несколько секунд не было видно ни зверя, ни охотника, потом оба появились в просвете чащи. Леопард, завывая при каждом движении, корчился на животе. Флори с четырех ярдов прицелился и

выстрелил. Леопарда подбросило, перевернуло, и он, скрючившись, затих. Флори потыкал неподвижное тело ружьем.

– Готов! – объявил он. – Идите, посмотрите.

Элизабет и двое спрыгнувших с ветки бирманцев подошли. Скрюченный леопард, самец, валялся на боку, подогнув голову между лап. Мертвым он выглядел гораздо мельче, чем живым, и жалобно, точнодохлый котенок. Колени у Элизабет еще дрожали. Они с Флори стояли рядом, но за руки сейчас не взялись.

Тут же, с криками ликования набежали остальные участники охоты. Фло, осторожно понюхав лежавший труп, поджала хвост и, отбежав подальше, заскулила, ни за что не соглашаясь вновь приблизиться. Сидя вокруг на корточках, охотники разглядывали зверя, трогая белое, пушистое как у зайца, брюхо, теребя поджатые в подушках широких лап когти, задирая черную губу и оценивая клыки. Затем два парня срубили бамбуковую жердь и, подвесив за лапы к перекладине леопарда с длинным, повисшим чуть не до земли хвостом, триумфально понесли добычу в деревню. О дальнейшей охоте, хотя было еще светло, и речи не возникло, – все, и белые, и туземцы, жаждали похвалиться своей победой.

В возвращавшейся через поле веренице впереди шли тащившие снаряжение и леопарда бирманцы, следом Флори с Элизабет, замыкавшая шествие Фло понуро семенила далеко позади. Солнце начало опускаться за реку. Косые лучи мягко золотили соломенную стерню, нежно гладили лица. На ходу плечи девушки и Флори почти соприкасались. Потные рубашки высохли. Говорить не хотелось; обоих охватило не сравнимое ни с какой душевной или физической радостью счастье сполна, великолепно достигнутой цели.

– Леопардовая шкура – вам, – сказал Флори уже возле самой деревни.

– О! Но ведь застрелили вы?

– Ерунда, трофей точно ваш. Клянусь, немного женщин смогли бы так держаться! Без писка-визга. В тюрьме есть отличный кожевник, он выдубит вам эту шкуру словно бархат. Сидит уже седьмой год, имел время усовершенствоваться в ремесле.

– Спасибо, огромное спасибо!

Больше разговоров не было. Вечером, отмывшись и отдохнув, они встретятся в клубе. Свидание не назначалось, но безусловно подразумевалось. Столь же безусловно, как то, что нынче вечером девушке будет сделано предложение.

В деревне Флори, распорядившись освежевать леопарда, заплатил каждому из загонщиков по восемь ан, а старосте оставил бутылку пива и

двух королевских голубей. Шкуру и голову леопарда сложили в каноэ. Усы зверя, несмотря на бдительность Ко Сла, успели срезать и украсть. Деревенские парни теперь боролись за право съесть сердце и прочие потроха, которые непременно одарят их всеми совершенствами леопарда.

В клубном салоне Флори обнаружил необычайно хмурых супругов Лакерстин. Мадам, по обыкновению занявшую место под самым опахалом и читавшую местный геральдический свод под названием «Штатный реестр служащих Бирмы», душило негодование – муж бросил ей вызов, немедленно по прибытии заказав «большой коньяк», и продолжал дерзить, нагло укрывшись за развернутым «Щеголем».

Элизабет, одна в душейной читальне, листала пожелтевшие страницы «Страны лесов», подавленная впечатлением от крайне неприятного инцидента. Пару часов назад, приняв ванну, она одевалась к ужину, когда в спальне внезапно появился дядя, который, интересуясь деталями охоты, весьма недвусмысленным образом начал прихватывать ее. Она безумно испугалась. Господи, оказывается, есть негодяи, способные лапать даже родных племянниц! Уроки жизни неистоимы. Дядюшка попытался свести все к шутке, однако ввиду избытка хмеля и недостатка воспитания в своих объяснениях не преуспел. Хорошо хоть тетушка ничего не услышала, иначе поднялся бы ураганный скандал.

Ужин прошел в неловком молчании. Мистер Лакерстин сидел, набывчившись. (Вечно чертовы бабы ломаются, не дают человеку чутков гульнуть! Девчурка – прямо картинка из «Звезд Парижа», а строит из себя! Могла бы вспомнить, между прочим, что дядя ее содержит!). Добрый дядя обидчиво дулся. Но для Элизабет ситуация стала действительно серьезной. Без дома, без гроша, на краю света и уже через две недели непонятно, как дальше существовать под этим кровом. Из всего этого вытекало одно – если Флори сделает предложение (а он несомненно сделает), надо соглашаться. При других обстоятельствах вряд ли стоило бы, хотя сейчас, после сегодняшнего дивного приключения, его, пожалуй, можно почти полюбить. Да, несмотря на его возраст, родимое пятно, его сразу насторожившую и порой вызывавшую просто ненависть привычку «умничать», поведение дяди поставило точку. Она ответит решительным согласием!

И Флори сразу прочел этот ответ в ее лице, смотревшем как никогда ласково и покорно. На ней было то самое сиреневое ситцевое платье, в котором он впервые ее увидел, и это тоже как-то ободряло, делало ее ближе, чем в иных, чересчур вычурных, внушавших некую робость нарядах.

Он заглянул в раскрытый перед ней журнал, бросил какое-то замечание, ненадолго завязалась их обычная, загадочно неизбежная, болтовня. Манеру говорить вообще не очень переменишь. Тем не менее, болтая, они все же постепенно двигались к дверям, за дверь, к огромному кусту жасмина возле теннисного корта. Стояла полная луна. Яркий диск, горя раскаленной добела монетой, быстро плыл по дымно-синему небу, изредка тускнея за штрихами охристых облаков. Заросли кротонов, днем отвратительно желтушного оттенка, чернели под луной изящной скульптурной резьбой. Столь же изысканно преобразенные, поблескивали на дороге за оградой белые полотняные отрепья двоих ковылявших мимо индийских кули. Крепчайший в ночной прохладе аромат жасмина шибал подобием парфюмерной жути, изрыгаемой автоматом «Свежесть за пенни».

– Луна! Только взгляните! – сказал Флори. – Белый огонь! Ярче английского зимнего солнышка.

Девушка подняла глаза. Куст сиял ажурным серебряным узором. Свет сделался плотной и ощутимой материей, сплошь покрывшей и землю, и стволы слоем искристой соли, густо припорошившей листья светом, будто снегом. Даже безразличная к подобным вещам Элизабет была удивлена.

– Замечательно! Я никогда еще не видела такой яркой луны. Это так... так...

Никаких метафор кроме «ярко» не вспомнилось, и она замолчала. Ей было свойственно обрывать фразы на манер Розы Дартл^[22], хотя и по менее романтической причине.

– Да, старушка луна в этой стране пыхтит всюю. Вас еще не замучил этот жасминовый одеколон? Чертовы тропики! Ошалеешь от дурацких деревьев, цветущих круглый год!

Он бормотал, не думая, дожидаясь, когда исчезнут фигурки кули. И только они скрылись, обнял не отпрянувшее плечо девушки, потянул к себе. Голова ее легла ему на грудь, короткие волосы щекотали губы. Приподняв девичий подбородок, он пристально заглянул ей в глаза (она была без очков).

– Вам не противно?

– Нет.

– Нисколько не противно от этой копоти? – он повернулся меченой щекой. Это был самый важный вопрос.

– Что вы, нет-нет.

Губы их встретились, нежные руки обхватили его шею, минуту или больше они стояли, тесно прижавшись, опираясь на гладкий ствол куста. Навязчивый запах жасмина мешал ему вдыхать благоуханье ее волос.

Густой приторный запах чужой земли, чужбины, всех пережитых здесь горестей одиночества и канувших напрасно лет лился каким-то непреодолимо разделяющим потоком. Как передать ей, объяснить ей это? Отстранившись и держа ее за плечи, он вглядывался в запрокинутое, достаточно хорошо освещенное лицо.

– Бессмысленно пытаться рассказать вам, что вы такое для меня. «Что вы для меня значите»! Словесная штамповка! Невозможно, не выразить, как сильно я вас люблю! Однако, так или иначе, я еще должен многое вам объяснить. Но не пойти ли нам обратно? Того гляди, хватятся и начнут искать. Поговорим лучше на веранде.

– Как мои волосы, в порядке? – спросила Элизабет.

– Они прекрасны.

– Жутко растрепались? Пригладьте их, пожалуйста.

Она нагнула голову, он пригладил короткие прохладные завитки. И то, с какой доверчивой простотой сунулась ему под ладонь ее макушка, пронзило чувством необыкновенной, большей чем поцелуй, почти уже семейной близости. Ах, как она нужна ему! Только с ней, с любимой женой, можно еще спастись! Ну, сейчас они сядут и он как полагается попросит ее руки! Медленно, обходя высокие шапки хлопчатника, они возвращались к клубу, рука Флори все еще на ее плече.

– Поговорим на веранде, – повторил он. – Мы ведь ни разу и не говорили по-настоящему. Боже, сколько же лет я дожидался человека, чтобы поговорить! И сколько, сколько хочется высказать! Это, конечно, скучно. Боюсь, вы страшно заскучаете. Но я прошу вас чуть-чуть потерпеть.

На слове «заскучаете» она сделала протестующий жест.

– Нет, уж известно, сколь мы, болтливые индийские британцы, надоедливы. Да, надоедливы. Что делать? Во всех нас поселяется бес, вопреки рассудку не дающий захлопнуть рот. Масса накопленных невысказанных чувств так и хлещет с языка. И мы без толку лезем, пристаем с тягомотиной своих воспоминаний. Вечный наш крест.

Поскольку внутренних дверей веранда не имела, здесь почти не было угрозы непрошенных вторжений. Элизабет сидела перед низким плетеным столиком. Флори расхаживал, руки в карманах, то являясь в пятне лунного света, то скрываясь в густой тени карниза.

– Вот я сказал сейчас, что я люблю вас. «Люблю!» Бренчащий звук. Но вы позвольте все же кое-что объяснить. Сегодня, когда мы стояли вместе на охоте, я думал: «Боже! Наконец-то рядом со мной тот человек, который сможет разделить мою жизнь, действительно и полно разделить все, чем я

живу, и то, в чем никогда...».

Он собирался просто, напрямик попросить ее выйти за него. Но вместо одной краткой фразы, текли и текли речи эгоистичной горячей исповеди. Иначе не получалось. Необычайно важно было, чтобы она точно увидела, поняла суть его здешнего одиночества – горчайшего изгойства, от которого, верилось, лишь она могла его избавить. А объяснить было ужасно трудно. Дьявольски мучает боль, ускользающая от определений; по-особому ноют болячки без названий! Бедняков, или туберкулезников, или несчастных отвергнутых влюбленных хоть выслушают, посочувствуют при описании понятных всем симптомов. Однако кто же, сам не испытав, отзовется на стоны загнанных одиночек?

Элизабет наблюдала, как всякий раз, показываясь на свету, шелк пиджака Флори играет серебром. Сердце еще трепетало волнением поцелуя, а мысли блуждали вдали от его слов, стучащих мерным дождем. Намеревается он вообще делать предложение? Говорит и говорит. Опять что-то про одиночество. Ах да! Это, конечно, насчет того, как одиноко ей после замужества покажется в местной глуши. Ну, пусть не слишком беспокоится. Кое-какой опыт глухого прозябания она приобрести успела. Довольно скучно, разумеется, когда ни танцев, ни кино, ни веселых гостей и вечерами только книжки читать. Но можно патефон купить. Ах, если бы еще в Бирму завезли эту новинку, эту прелесть – портативное радио! Вот что надо бы обсудить! Флори тем временем излагал финальное резюме:

– Теперь вам все стало понятнее, не так ли? Вся панорама здешней жизни? Вся эта странная жизнь пришельцев, их одиночество, их меланхолия! Чужие птицы и цветы, чужие реки и чужие лица. Как высадиться на другой планете. Но, знаете ли, – это, пожалуй, главное – и на другой планете можно устроить неплохую жизнь, даже прекрасную, поверьте, если обрести тут друга. Близкую, чуткую, созвучно видящую, слышащую душу! Сегодня здесь для меня, как для большинства подобных, пустынный ад, но для двоих и здешний край мог бы стать настоящим земным раем. Это ведь не бред, это возможно?

Остановившись, он взял руку девушки. В полутьме овал ее лица нежно светился расцветающим бутоном, но уже по касанию пальцев он вдруг понял, что она ни словечка не услышала. Стоило разглагольствовать! И что? Не лучше ли произнести только «будьте моей женой»? И впереди целая жизнь для долгих душевных разговоров! Он мягко потянул ее, заставив встать.

– Простите, нес тут всякую ахинею.

– Ничего, – тихо пробормотала она, ожидая поцелуя.

– Нет, чушь все это. Кое-что никак не втиснешь в слова. Да еще жаловаться на свои болячки вздумал. Но все это к тому, чтобы сказать, спросить вас, – вы согласны...

– Элизабе-э-эт! – пронзительно задребезжал из клуба капризно хнычущий зов миссис Лакерстин. – Элизабе-э-эт? Где ты?

Тетушка очевидно вышла в сад и направлялась прямоиком к веранде. Флори быстро обнял Элизабет, они торопливо поцеловались.

– Скорей, у нас секунды, отвечайте! Вы будете...

Закончить было не суждено. Внезапно пол под ногами качнулся, накренился морской палубой, Флори свалило и ударило в плечо. И продолжало толкать, швырять и перекатывать, словно под досками ходуном ходила спина громадного слона.

Внезапно разбушевавшийся пол резко замер. Флори сел, ошарашенный, но без особого ущерба. Смутно виднелась распростертая поодаль Элизабет, слышались крики внутри клуба, по лунной дороге промчались, блеснув летевшими гривами, два бирманца, дико вопившие: «Нга Ин! Нга Ин стучит!».

Флори, плохо соображая, задумался: «Нга Ин? Кто это? Нга – именная приставка разбойников. Бандит? Куда стучит?» И вспомнил – Нга Ин, легендарный гигант, сродни запрятанному в гору античному Тифону, что порой гневно восстает вулканом и сотрясает землю.

– Землетрясение! – воскликнул он и поспешил помочь Элизабет. Она, однако, уже сидела, цела и невредима, потирая затылок.

– Землетрясение? – слабым голосом переспросила она.

Из-за угла, цепляясь за стену, выполз вертикальный силуэт ящерицы с обликом миссис Лакерстин, истерически кричавшей:

– Землетрясение! О дорогой, меня ударило! Это чудовищно! Я умираю, о-о! О дорогой!

Муж, пошатываясь рядом походкой паралитика, сраженного двойным ударом подземного толчка и джина, икнул:

– Чертово землетрясение!

Неуверенно ступая, Флори и Элизабет выбрались наружу; ноги гудели той дрожью, что ощущаешь, сойдя на берег после продолжительного плавания. От хижин для слуг бежал старик бармен в сбившейся набок чалме, за ним галдящие чокры.

– Землетрясение, сэр, землетрясение! – спешили доложить они хоровым воплем.

– Ясно, к дьяволу, что землетрясение! – проворчал мистер Лакерстин, осторожно опускаясь на стул. – Эй, выпить чего-нибудь! После всего,

клянусь богом, имею право чуток глотнуть!

Глотнуть собрались все. Бармен, и робея и сияя, стоял возле стола с подносом. «Землетрясение, сэр, большое землетрясение!» – вдохновенно повторял он. Его разрывало желание говорить! обсуждать! Впрочем, и остальных тоже. Едва утихла дрожь в ногах, нахлынул прилив невероятной жизнерадостности – вспоминать о землетрясении так весело; сознание, что тебя не погребло под кучей камня, необычайно воодушевляет. Наперебой шумели голоса: «Ого! Меня так ударило, кошмар!» – «Чувствую, опрокинуло и прямо шмякнуло!» – «Думаю, что это? стая дворняг паршивых, что ли, под полом бесится?» – «Тряхнуло, а я про себя – ну, бомба!» – чувства требовали излияния и подтверждения. Даже старого бармена допустили к общей беседе.

– Наш бармен, я полагаю, должен помнить много землетрясений, не так ли? – глядя на лакея, с редкостной для нее любезностью протянула миссис Лакерстин.

– О да, мадам! Много, очень много! 1887-го, потом 1889-го, и в 1906-м, и в 1912-м – много помню, мадам!

– В 1912-м потрясло ничего себе, – заметил Флори.

– О, сэр, а в 1906-м еще сильнее! Страшный был удар, сэр! Большой идол упал с храма буддистов, так что сатханабанг, их главный священник, мадам, сказал бирманцам – плохой знак, рис не уродится и скот ящуром заболевает. А первое землетрясение я помню, когда еще служил тут в клубе чокрой, когда сахиб майор Маклеган под стол упал и клялся, что пить бросит навеки, – он сразу и не понял, что землю затрясло. Тогда еще крышами двух коров убило...

Члены клуба засиделись до полуночи, и бармен чуть не до половины двенадцатого развлекал публику, плетя свои истории. Обычно пренебрежительно не замечавшие его, сегодня европейцы были с ним ласковы, даже хвалили. Землетрясение – лучший путь к единству человечества. Еще парочка крепких подземных толчков, и сахибы пригласили бы бармена индуса сесть с ними за стол.

Что касается предложения руки и сердца, оно было отложено. Нельзя же, в самом деле, смешивать разговоры о землетрясении и женитьбе. Тем более, в тот вечер Флори больше не имел возможности остаться с Элизабет наедине. Но это ничего не значило, ведь он знал уже, что она принадлежит ему. Утром успеется договорить. На этой мысли, примиренный с миром и после бесконечно долгого дня уставший как собака, Флори уснул.

Снявшись с заляпанных известкой птичьего помета ветвей мощных кладбищенских пинкадо, стервятники распластали крылья и широкими кругами поднялись в вышину. Несмотря на ранний час, Флори уже бодро спешил в клуб, чтобы, дождавшись Элизабет, сделать наконец формальное предложение. Некий неясный инстинкт побуждал его завершить это дело до возвращения коллег и приятелей из джунглей.

За калиткой он неожиданно увидел новоприбывшую персону. По плацу легким галопом скакал молодой человек на белом пони, с длинным тонким копьём в руке. Несколько сикхов (судя по всему – сипаи^[23]) бежали сзади, держа за уздечки двух пони бурой масти, гнедого и каурого. Подойдя ближе, Флори приостановился и громко поздоровался; в захолустных местечках непременно приветствуют даже незнакомцев. Всадник ловко, красиво развернулся и подскочил к тропе. Это был несомненно конный офицер, лет двадцати пяти, худощавый, но очень стройный. Голубоглазое лицо распространенного в английской армии, несколько кроличьего типа, с открытым треугольником торчащих под верхней губой зубов, смотрело, однако, взглядом кролика смелого, сурового, порой свирепого, а подчас даже по-солдатски безжалостного. Сидя на лошади как влитой, выглядел незнакомец чрезвычайно лихо и доблестно. Светлые глаза превосходно оттенялись румяным гладким загаром, и весь он, в белом высоком топи из оленьей кожи, в сиявших матовым дорогим блеском тугих высоких башмаках, являл собой эталон элегантности. Флори сразу почувствовал себя рядом с ним как-то неуютно.

– Рад вас приветствовать! – сказал Флори. – Недавно прибыли?

– Ночью, последним поездом, – коротко бросил заносчивый мальчишеский голос. – Меня с командой сюда вызвали выручать ваших в случае чего. Лейтенант Веррэлл, военная полиция, – все же представился он (не спросив, правда, об имени Флори).

– Да-да, мы слышали, что к нам направили отряд. Где вы остановились?

– Пока в дак-бунгало^[24]. Болтался там какой-то черномазый, акцизный или что-то вроде, я его вышиб. Тухлая дыра, а? – вздернув подбородок, повел он глазами на городок.

– Как все пристанционные поселки. Вы надолго?

– Слава богу, только на месяц или того меньше. До дождей обратно.

Но что у вас за пакость вместо плаца? Нельзя, что ли, всю эту дрянь выкосить? – спросил он, хлестнув сухой бурьян концом копыя. – Какая тут игра в поло и все такое?

– Боюсь, с поло вам здесь не повезло. Лучшее, что мы можем предложить, это теннис. У нас всего восемь европейцев, и три четверти времени мы в джунглях.

– Черт, вот дырища!

Наступило молчание. Высокие бородатые сикхи, придерживая пони, стояли и смотрели на Флори довольно неприветливо. Беседу явно было пора кончать. Ни разу в жизни Флори не ощущал себя столь убогим, вернее затрапезным. Лошадка Веррэлла была великолепной арабской кобылкой с гордой шеей и пышным выгнутым хвостом (стоила это молочно-белое сокровище наверняка несколько тысяч рупий). Сам Веррэлл уже дергал уздечку, откровенно показывая, что разговорный лимит исчерпан.

– Красивая у вас коняга, – сказал Флори.

– Недурна, получше бирманских чушек. Хочу колышки посбивать, хотя в этих кучах навоза вряд ли шар протолкнешь. Эй, Хира Сингх! – позвал он, натянув поводья.

Один из сипаев побежал вперед и ярдов за сорок воткнул в землю острый самшитовый обрубок. Мгновенно позабыв про Флори, Веррэлл поднял копьё, стараясь прицельно установить его. Индусы зорко, критично наблюдали. Почувствовав чуть сжавший ее бока толчок коленей, лошадь помчалась пушечным ядром. Пригнувшийся к седлу молодой стройный кентавр ударил копьём и точно пробил мишень. «Шабаш!» – хрипловато одобрил наблюдавший сикх. Пустив пони легким галопом, Веррэлл вернулся с пронзенным колышком, который незамедлительно был установлен в новом пункте.

Еще дважды Веррэлл атаковал мишень – оба раза безупречно. Упражнение исполнялось необычайно изящно и невероятно серьезно. Сражение с колышком для всей команды являлось священнодействием, Флори больше не удостоили ни взглядом. Однако он не уходил. Хотя физиономия лейтенанта была словно специально скроена, дабы игнорировать незнакомцев, именно эта оскорбительная надменность не давала сдвинуться с места и наполняла жутким ощущением собственной второсортности. Придумывая, как бы возобновить разговор, Флори вдруг заметил поднимающуюся по склону Элизабет. Она, должно быть, успела увидеть последнюю, особенно удачную атаку. Сердце застучало, в голове сверкнула одна из тех молнией осеняющих идей, которые обычно приводят ко всяким неприятностям. Указывая на стоящих бурых пони, Флори

крикнул скакавшему не遠далеке Веррэллу:

– Эти тоже научены вскачь?

Раздраженный все еще не убравшимся субъектом, Веррэлл кинул через плечо:

– Что?

– Эти тоже натренированы? – повторил Флори.

– Гнедой неплох. С норовом только.

– Позвольте и мне сделать рейс?

– Ну, давайте, – процедил Веррэлл. – Не гоните и за узду покрепче.

Сипай подвел пони, и Флори притворился, будто осматривает подгубный ремень. На самом деле, он ждал приближения нарядного голубого платья. Он уже рассчитал, что пронзит колышек в момент появления Элизабет (прикинуть скорость приученных к галопу мелких бирманских пони несложно), а затем подъедет к девушке с трофеем на кончике копья. Пусть убедится – не один этот шикарный наглый щенок умеет ловко скакать. В шортах, правда, на лошади не особенно удобно, зато верхом всегда смотришься гораздо эффектней.

Элизабет показалась в конце плаца. Флори прыгнул в седло, взял из рук сикха копье и помахал им навстречу девушке. Она никак не ответила, стесняясь, вероятно, незнакомого Веррэлла. Взгляд ее был устремлен куда-то к дальнему погосту, щеки пылали.

– Чало! – скомандовал Флори индусу и вдавил колени в конские бока.

В следующий миг, не успев даже натянуть поводья, Флори взлетел на воздух, с треском едва не вывернутого плеча грохнулся наземь и покатился кубарем; хорошо хоть копье упало в стороне. Пришел он в себя, лежа навзничь, смутно различая синюю даль и плавающих в ней стервятников. Затем крупно возникла бурая чалма над смуглым бородатым лицом.

– Что это было? – по-английски выговорил Флори, пытаясь приподняться, не чувствуя отбитой руки.

Сикх что-то пробурчал и показал на каурого пони, скакавшего по плацу с висящим под брюхом седлом. Так! Значит, подпруга была не затянута.

Сесть удалось, но при этом обожгло дикой болью. Разорванная на правом плече рубашка намочла от крови, по щеке тоже обильно сочилась липкая кровь. Руки сплошь в ссадинах, царапинах, панамы неизвестно где. С мучительной ясностью вспомнилась Элизабет, которая шла и глядела прямо на него, плюхнувшегося так нелепо, так позорно! Боже! Боже! В таком дурацком виде! Перед ней! Рвущая сердце картина заглушила физическую боль. Он плотно прижал ладонью свое родимое пятно, хотя

поранило другую щеку. И, сознавая, что выглядит просто кретином, беспомощно, умоляюще позвал:

– Элизабет! Элизабет, с добрым утром!

Она не отвечала и – как в дурном сне – подходила все ближе с таким видом, будто не слышала, не видела его.

– Элизабет! – повторил он, ошеломленный. – Видали, как я хлопнулся? Седло съехало, понимаете, дурак сипай не подтянул...

Теперь, буквально в двух шагах, сомнений относительно ее нежелания отвечать не оставалось. На мгновение повернувшись всем лицом, она тут же опять направила свой взгляд к влекущим пейзажным далям. Истинный кошмар. И уже вслед он в ужасе продолжал звать ее:

– Элизабет! Послушайте, Элизабет!

Ни слова, ни жеста, ни взгляда. Она прошла. Только быстрый, решительный стук каблучков и стройная спина.

К месту падения сходились сикхи, лейтенант тоже повернул сюда свою лошадку. Индусы приветствовали проходившую барышню, Веррэлл – нет; может быть, просто не заметил. Флори кое-как поднялся. Расшибся он крепко, но кости вроде бы остались целы. Сипаи принесли ему его стек, его панаму, хотя извиниться за небрежность и не подумали. Судя по их слегка высокомерным взглядам, считали, что он сам напросился на подобный урок. Можно было даже предположить, что и подпругу ему ослабили умышленно.

– Седло соскользнуло, – пожаловался Флори, не найдя лучшего, чем обычные ссылки на обстоятельства.

– Какого черта не проверили? – отрезал Веррэлл. – Этим проходимцам никогда нельзя доверять!

Выразив таким образом достаточно внимания, он дернул за уздечку и ускакал. Сипаи тоже молча пошли прочь. Когда доковылявший до дому Флори оглянулся, гнедой пони стремительным галопом летел к колышку, неся в туго подтянутом седле бравого лейтенанта.

Голова от удара о землю еще кружилась, мысли разбегались. Но почему она так странно себя вела? Не отзывалась, прошла, будто мимо дохлой кошки? Что же случилось? Что? Фантастика! Из-за чего-то рассердилась? Обиделась на что-то? У забора столпились слуги, глазевшие из ворот на скачки и все видевшие. За калитку, встретить господина, выскочил страшно встревоженный Ко Сла.

– Божеству моему очень плохо? Я понесу божество мое на руках?

– Не надо, – отмахнулось божество. – Виски дай и переодеться.

В спальне Ко Сла усадил хозяина на кровать. Осторожно сдирая

присохшую, задубевшую от крови рубашку, он горестно цокал языком:

– Ах ма лай? Кровь везде, везде грязь! Не надо вам, тхэкин, эти детские игры на смешных глупых лошадках. Старый уже, очень опасно!

– Седло съехало, – объяснил Флори.

– Такая игра, – продолжал Ко Сла, – хорошая для молодого офицера. А вы больше не молодой, тхэкин. Уже опасно падать. Надо тихо-тихо ходить.

– Что я, старик? – сердито бросил Флори, морщась от боли в плече.

– Вам тридцать пять, – напомнил Ко Сла вежливо, но твердо.

Помимо столь ободряющих сентенций, жены Ко Сла, временно примирившись, притащили горшок некого (чудодейственно целебного!) скверного месива, каковое слуге было приказано потихоньку вывалить за окно, заменив борной мазью. Затем, в прохладной ванне, когда Ко Сла бережно отмывал его, а голова постепенно прояснялась, он снова размышлял и тяжесть на душе усиливалась. Да, она явно глубоко оскорблена! Но чем, если после вчерашнего прощания они еще не виделись? Сплошная тайна!

Флори еще несколько раз объяснял слуге досадную постороннюю причину падения с лошади, и Ко Сла цокал языком, сочувствовал, хотя по лицу было видно, что он накрепко уверился в неумении хозяина ездить верхом. С другой стороны, пару недель назад Флори совершенно незаслуженно досталась слава героя, укротителя мирных буйволов. Судьба на свой лад все же держит справедливое равновесие.

Вновь Флори встретился с Элизабет только вечером в клубе. До этого он не посмел искать ее, отражение в стекле стакана удручало, лишая всякой смелости. Слева уродская метка, а справа ссадина, как с такой мордой заявиться при дневном свете? Входя в салон, он прикрывал лицо рукой, якобы потирая укус москита на лбу. Дрожащая ладонь сейчас сама, кажется, прилипала, пряча родимое пятно. Элизабет, однако, еще не было. Зато его втянул водоворот нежданной ссоры.

Только что вернувшиеся из джунглей Эллис и Вестфилд сидели, брюзгливо обсуждая новость о том, что в Рангуне подлец редактор «Сынов Бирмы» за клевету посажен на четыре месяца. Кипя по поводу столь смехотворного приговора, Эллис встретил Флори ядовитым вопросом насчет «слюнявого дружочка Вшивотами». Менее всего в данный момент расположенный спорить, Флори неосторожно огрызнулся, – появился повод к сваре. Атмосфера стала накаляться, и после того, как Эллис назвал его «мальчонкой для черномазых пидоров», Флори своим ответом вывел из себя и Вестфилда. Даже его, покладистого по натуре, частенько раздражал необъяснимый большевизм Флори (при всякой абсолютно четкой диспозиции правильной штуки и дерьма, этот малый настырно расхваливал то самое дерьмо). Вестфилд призвал Флори не изображать чертовых агитаторов на митинге, а затем прочел небольшую проповедь с напоминанием главных святых заветов:

Наш престиж!

Твердая рука (крепкий кулак)!

Все мы должны всегда плечом к плечу!

Уступ дюйм, гады тебе ни пяди не оставят!

Дух наш един, дух наш несокрушим!..

Растущее беспокойство относительно Элизабет так грызло душу, что Флори едва слышал суровое наставление. Кроме того, он все это сто раз прослушал еще во времена военных сборов гражданской молодежи, начиная с первой недели в Рангуне, когда командир, матерый бурра-сахиб (большой ценитель джина и крупный специалист по разведению пони, позже уличенный в махинациях на скачках) над гробом земляка напутствовал их, юнцов: «Помните, ребята! Всегда помните – мы народ сахибов, а они мразь!». Наваливалась просто смертная тоска.

– Ну хватит, надоело! – прервал он Вестфилда. – Верасвами хороший

парень, будь я проклят, – получше кое-каких белых! Как бы то ни было, я выставлю его кандидатуру на собрании. Может хоть он освежит нашу драную помойку!

После этого скандал мог полыхнуть до небес, если бы, как большинство клубных ссор, не угас с появлением услышавшего шум бармена.

– Звали, сэр?

– Пошел к черту! – шикнул Эллис.

Бармен скрылся, но свара временно улеглась. Послышались шаги и голоса – явились Лакерстины.

Не в состоянии взглянуть в глаза Элизабет, Флори все же заметил, что семейство роскошно принарядилось. Мистер Лакерстин даже в белом, по сезону, смокинге и совершенно трезв (крахмальная сорочка с пикейным жилетом, видимо, броней крепили его нравственность). Изящнейшая миссис Лакерстин в алой змеиной шкурке. Впечатление прибывших на консульский раут по случаю приема высоких гостей.

В ожидании напитков, миссис Лакерстин, воссев под опахалом, невероятно протяжным писком завела разговор о дивном принце Уэльском, вызывая некое дружное тайное недоумение («какого дьявола?») и до странности напоминая вдруг получившую роль герцогини опереточную хористку. Флори устроился сбоку основного застолья, почти позади Элизабет, которая была в желтом, смело укороченном согласно моде платье, искрящихся чулках, лаковых босоножках и более того – с украшавшем головку пышным страусовым пером. Никогда еще ее шик, ее светский шарм так не подавляли. Не верилось, что недавно он целовал ее. Поскольку Элизабет щебетала со всеми сразу, Флори тоже отважился вставить словечко, но откликнулась ли она как-то ему лично, в общей беседе осталось непонятным.

– А кто же готов в бридж? – пропела миссис Лакерстин.

Отчетливо произнесла не «бридж», а «брийдж»; загадочная аристократичность нарастала буквально с каждой фразой. Готовы оказались супруг, Вестфилд и Эллис. Флори, вслед за отказом Элизабет, поспешил отрицательно замахать руками. Замаячил единственный, может, шанс переговорить с ней наедине. Тревожно следя за уходящими в соседний зал, он с облегчением увидел, что девушка идет последней, и быстро встал в дверях, мгновенно побелев и похолодев. Элизабет слегка отпрянула.

– О, извините, – сказали оба одновременно.

– Секунду! – продолжил он, плохо скрывая дрожь в голосе. – Можно

вас чуть-чуть задержать? Просто сказать вам кое-что?

– Мистер Флори, позвольте мне пройти.

– Прошу! Прошу вас! Мы сейчас одни. Только два слова!

– О чем именно?

– Только вот это. Чем бы я вас не обидел, пожалуйста, скажите – чем?

Скажите, я имею право знать, для меня хуже пыток чувствовать, что я чем-то вас оскорбил. Пожалуйста, не оставляйте меня без ответа.

– Не понимаю, «оскорбил»? С какой стати? Откуда у вас эта идея?

– Но как же? Вы ведь так вели себя!

– Как я себя вела? Вообще, вы очень странно со мной говорите.

– Даже не скажете! Вы утром насмерть меня прикончили.

– Обязана ли я выслушивать эти допросы?

– Но я прошу вас, умоляю! Вы видите, не можете не видеть, что со мной делает ваше внезапное презрение. Вспомните, ведь еще вчера мы с вами...

Она густо порозовела.

– По-моему, упоминать о подобном грубо и чрезвычайно бестактно!

– Знаю, знаю! Я знаю. Но что ж мне остается? Вы прошли мимо, словно меня и не было. Я понимаю, что как-то ужасно обидел вас, и вы не можете сердиться, если я умоляю вас открыть причину этой обиды.

Как уж не раз бывало, каждым словом он лишь ухудшал дело, и сам чувствовал, что говорить бесполезно. Она не намерена объяснять. Хочет, по-детски, побольней щипнуть и притвориться непричастной, непонимающей. Но все-таки он продолжал настаивать:

– Прошу вас, объясните! Нельзя, чтобы вот так вдруг все закончилось между нами.

– Между нами ничего не было, – ледяным тоном отрезала она.

Пошлость фразы кольнула его, побудив быстро проговорить:

– Нехорошо, Элизабет! Невеликодушно проявить к человеку симпатию, а потом вмиг прикончить без объяснения причин. Скажите, в чем я виноват?

Она искоса бросила на него злой взгляд – злой, потому что ее все-таки вынудили отвечать. Хотя, возможно, и сама она уже стремилась закончить сцену.

– Ну хорошо, если вы требуете...

– Да?

– Я узнала, что, когда вы претендовали... в общем, когда вы были... со мной... нет, не могу! Это такая грязь!

– Говорите.

– Мне рассказали, что у вас есть женщина бирманка. Теперь, надеюсь, вы дадите мне пройти?

С этим она проплыла, иначе не сказать, именно проплыла мимо него. Свистнувший шорох короткой шелковой юбки и она исчезла в комнате для карт. Онемев, он стоял дурак дураком.

Катастрофа. Бежать, скрыться с ее глаз! Он сунулся было к выходу, но не решился идти мимо двери, из которой она могла его увидеть. Вернулся в салон, нервно огляделся и, спрыгнув с широкого заднего балкона, побежал вдоль реки. Пот лил со лба, хотелось выть от гнева и отчаяния. Так глупо споткнуться! «Женщина бирманка!» – сейчас ведь уже и вранье! Но не отвертись! Ну что за невезение, что за чертов случай открыл ей это?

Случай, однако, был не при чем. Имелась вполне логичная причина и, кстати, та же самая, что пробудила в Лакерстинах невиданный аристократизм. Утешаясь вчера вечером любимым чтением – изучая «Штатный реестр служащих Бирмы» (с поименным указанием сословного происхождения, положения, дохода и т. п.), миссис Лакерстин сосредоточенно вычисляла сумму оклада и премий однажды представленного ей в Мандалае чиновника Департамента лесов, как вдруг заметила имя прибывавшего, по последним сведениям, завтра во главе отряда военной полиции лейтенанта Веррэлла. И рядом с этим именем два ослепивших, на миг лишивших дыхания слова – «знатн. пр.»

Знатного происхождения! Подобные алмазы в британской армии, как почти вымершие в лесах Бирмы птицы дронты. И если вы тетя единственной в округе миленькой барышни на выданье – о-о! Охваченная тревогой относительно этого Флори, с окладом едва семьсот рупий в месяц, этого пьяницы, который сейчас, может, уже делает предложение, миссис Лакерстин спешно принялась выкликать Элизабет, но тут и грянуло землетрясение. Впрочем, на пути домой удалось выправить ситуацию. Доверительно коснувшись руки племянницы, тетушка прожурчала нежнейшим голоском:

– Тебе ведь, конечно, известно, дорогая, что Флори содержит какую-то бирманку?

Замечание взорвалось не сразу. Элизабет показалось, что речь идет о чем-то сугубо местном вроде домашнего попугая:

– Содержит? Для чего?

– О, дорогая моя! Для чего мужчины содержат женщин?

Цитировать далее излишне.

Довольно долго Флори простоял у реки. Низкая луна отражалась широким оловянным щитом. Речная свежесть охладила горячку в голове.

Оглядывая свою жизнь и, соответственно, проникаясь унылой ненавистью к себе, он думал, что все правильно. В лунных лучах потоком призраков пронеслась бесконечная вереница бирманок; господи, сколько их было! Не тысячи, но сотня уж наверняка. «Равнение прямо!», гляди, гляди! Вместо лиц мелькали смутные пятна, где-то блеснул атласный узел лонги, где-то пара рубиновых сережек, но ни глаз, ни имен. Боги справедливы, обращая наши грехи (весьма, однако, приятные!) нам в наказание. Он сам, скотина, втоптал себя в грязь.

Медленно и тоскливо Флори поплелся к воротам клуба. Печаль наполняла его; боль только разгоралась, рана разверзнется потом. За оградой сзади слышался какой-то шорох. Шепот птичьей бирманской скороговорки:

– Пайк-сэн-пэй-лайк! Пайк-сэн-пэй-лайк!

Он быстро оглянулся. Под деревом темный женский силуэт – Ма Хла Мэй. Боязливо, словно ожидая удара, она ступила на лунную дорожку. Угрюмое напудренное лицо белело жуткой карнавальной маской смерти.

– Ты что пугаешь? – вздрогнув, сказал он. – Опять «дай деньги!», да ты что? Оставишь ты меня в покое?

– Пайк-сэн-пэй-лайк! – голос ее повысился до крика. – Вы обещали давать денег, тхэкин. Дайте, дайте мне!

– Откуда я возьму? Сказал же, подожди. И так уже полторы сотни получила.

Она снова истошно заверещала, повторяя свое «пайк-сэн-пэй-лайк!». Поразительно, как громко могло орать это субтильное существо.

– Тише, в клубе услышат! – воскликнул он и немедленно пожалел, что наградил ее новой идеей.

– Ага! Знаю теперь, чего вам страшно! Дайте денег, а то так закричу, все прибегут! Ну? Сейчас закричу!

– Сука! – прошипел он и сделал шаг к ней. Она отпрыгнула котенком, в которого запустили башмаком.

– Пятьдесят рупий сейчас, еще столько завтра, а то так крикну – за базаром услышат! Ну?

Чертыхнувшись, Флори достал бумажник, вытащил все (двадцать пять рупий) и кинул на землю. Она схватила и быстро пересчитала.

– Тхэкин, я говорила – пятьдесят!

– Нет у меня! Что я, набит деньгами?

– Пятьдесят!!

– Прочь с дороги!

Он быстро зашагал, надеясь, что она все-таки отлипнет. Но мерзавка

бежала следом неотвязной собачонкой, не переставая выкрикивать «пайк-сэн-пэй-лайк!», будто рассчитывала начеканить монет одним своим звонким криком. Вскоре он не выдержал и повернулся, в новой попытке отогнать ее.

– Уйди! Не отцепишься, никогда больше ни гроша не дам.

– Пайк-сэн-пэй-лайк!

– Дура ты, нет денег, ни пайсы не осталось, понимаешь?

– Сказки, тхэкин!

Он беспомощно начал рыться в карманах, готовый уже чем угодно откупиться от нее. Пальцы наткнулись на золотой портсигар. Он его вынул.

– Если я дам это, уйдешь? Закладчик возьмет за тридцать рупий.

Ма Хла Мэй слегка задумалась, потом буркнула:

– Давайте.

Он бросил портсигар на обочину. Она мигом нашла его в траве и сунула за пазуху. Флори пошел к дому, моля бога заткнуть ей глотку. Портсигар был тот самый, который она украла десять дней назад.

У своей калитки Флори обернулся, увидев все еще маячивший на склоне хрупкий силуэт Ма Хла Мэй. Странно, что она не ушла и как будто выслеживала его. Снова в голове пробежало некое подозрение, уже мелькавшее при получении ее нахального письма. Упорство не было ей свойственно. Что это ее вдруг завело?

После последней свары Эллис нацелился неделю травить Флори, изобретя совершенно непонятную дамам позорную кличку «сладкий малыш для черномазых мусиков» и планируя массу тематических вариаций – скандалы Эллиса, подобно сагам, изливались узорами бесчисленных повторов. Реплика «Верасвами хороший парень, будь я проклят!» раздулась в ежедневный обзор всяческой агитационной крамолы.

– Клянусь, миссис Лакерстин! – Обнаружив кое-что касательно лейтенанта Веррэлла и внезапно исполнившись презрения к Флори, мадам весьма охотно внимала Эллису. – Клянусь, Флори такую дурь орал, у вас бы прямо коленки затряслись!

– О, неужели? Меня, знаете ли, постоянно шокировали его речи и манеры. Но я надеюсь, не социализм?

– Хуже.

Последовали жуткие подробности. К досаде Эллиса, сам Флори соскользнул с крючка. На следующий день после крушения всех надежд он уехал в свой лагерь. Зато Элизабет в эти дни открылось многое, и она ясно поняла, чем все время бесил ее здешний поклонник – «умник» той же породы, что все эти Ленины, Куки и монпарнаасский сброд с их свинскими стишками. Умник с идеями еще грязней его туземных любовных шашней. Дня через три нарочный принес от него (до лагеря Флори был день пути) невнятное, высокопарное письмо. Она не ответила.

Флори очень повезло, что в лагере навалилась куча забот. Без него все там развалилось; не хватало уже тридцати грузчиков, больной слон еле дышал, из-за заглохшей дрезины на десять дней задержалась отправка горой скопившихся тиковых бревен. Не большой спец насчет машин, Флори бился с мотором, пока весь не покрылся машинным маслом, получив от Ко Сла строгое замечание за недостойную «работу для кули». Однако же дрезина стала наконец если не бегать, то кое-как трюхать по рельсам. У слона обнаружили просто-напросто глисты. Что касается кули, то массовое дезертирство объяснялось изъятием опиума, который служил им в джунглях профилактикой против лихорадки. Конфискацию нелегального опиума организовал, между прочим, хлопотливый У По Кин, не забывавший вредить Флори. Помог доктор – в ответ на письменную просьбу Флори он решил прислать нужную толику контрабандного наркотического средства, а также передал лекарство для слона с подробной

инструкцией, благодаря чему был извлечен шестиметровый глист. Трудился Флори по двенадцать часов в сутки, дополнительно изнуряя себя ночными маршами сквозь хлещущие и обдирающие дебри. Ночами бывало особенно неумоготу. Смертная боль утраты оседала медленно, едва-едва, грозя надолго затянуть процесс.

Тем временем солнце вставало и заходило, а Элизабет еще ни разу не удалось лицезреть лейтенанта Веррэлла с расстояния менее сотни ярдов. Чрезвычайно разочаровало напрасное ожидание вечером в день его прибытия. Зря заковавший себя в смокинг мистер Лакерстин разозлился не на шутку. Наутро миссис Лакерстин заставила супруга послать в дак-бунгало приглашение на вечер в клубе – ни малейшей ответной реакции. Дни шли, Веррэлл все так же игнорировал местное общество и даже пренебрег регламентом официального визита к представителю комиссара. Так же, как правилом ограниченного срока проживания в станционном приюте, весьма комфортно и единолично им оккупированном. Европейцам предоставлялось лишь издали наблюдать его, галопирующего по плацу, где уже на второй день после появления благородного всадника полсотни сикхов из его отряда серпами выкосили обширную плешь для упражнений в поло. Внимание лейтенанта ко всем проходившим краем плаца соотечественникам не простиралось далее небрежного кивка. Эллис и Вестфилд были в бешенстве, даже мистер Макгрегор обронил, что поведение офицера «не куртуазно». Разумеется, прояви Веррэлл капельку благосклонности, каждый радостно кинулся бы угождать ему, но сейчас все (кроме двух дам) дружно его возненавидели. Эмоции относительно лиц знатных кровей полярны: если аристократ не избегает контактов с безродным племенем, его обожают за очаровательную простоту, если сторонится – гневно винят в жутком снобизме. Середины в подобных чувствах нет.

Веррэлл был младшим сыном пэра и отнюдь не богатым, но умевшим путем долгов и исключительно редкой оплаты счетов обеспечить себя главнейшими в мире вещами – отличными лошадьми и экипировкой. Он начинал в Индии в Британском конном полку, из которого, ради менее крупных затрат и большей свободы для поло, перешел в ряды Индийской армии, откуда, ввиду невероятной суммы долгов, перекочевал в известную скромностью обихода Бирманскую военную полицию. Бирма, однако, оказалась гнусной – наихудшей для конного спорта – страной, так что теперь он подал рапорт о возвращении в гвардейский Британский полк (как офицеру особого статуса, ему всегда шли навстречу). Приехавший в Кьяктаду лишь на месяц, он не намеревался общаться со всякой

захолустной шушерой. Убогой пешей сволочью!

То был, надо сказать, не единственный презираемый Веррэллом социальный сорт. Категории лиц, вызывавших его брезгливость, составили бы длинный список. Он презирал всех штатских Индии, исключая нескольких виртуозов поло, а также и всех здешних британских военных, кроме конногвардейцев. В Индийских же частях им равно презирались и конница и пехота. Несомненна была лишь его преданность родному кавалерийскому полку, хотя по чисто эгоистичным соображениям. Относительно коренного населения полные слепота и глухота плюс бранный индийский жаргон с глаголами только в третьем лице повелительного наклонения. Своих сипаев он ценил не выше кули, наиболее популярной оценкой в инспекциях отряда, когда он шел вдоль шеренги, а сзади пожилой субадар^[25] нес его шашку, являлось брошенное сквозь зубы «чушка подзаборная!». Однажды командование даже сделало ему выговор за чересчур откровенные отзывы о туземных армейских частях. Произошло это на смотре, где Веррэлл стоял в группе офицеров позади генерала. Подходил, маршируя, индийский пехотный батальон.

– Отличные стрелки! – произнес кто-то.

– Кошельков из карманов! – добавил Веррэлл своим звонким дерзким голосом.

Белокурый командир марширующих сипаев, побагровев, наклонился к генеральскому уху. От генерала, из штаба британского корпуса, последовало строгое, краткое впрочем, внушение (без каких-либо, естественно, взысканий по службе). Дорогой всех его стоянок в Индии за Веррэллом тянулся шлейф бесконечных оскорблений, пренебрежительных нарушений устава и неоплаченных счетов. Магическая анкетная пометка «знатн. пр.» позволяла что угодно. Да и глаза отпрыска благородного семейства обладали силой, леденившей души кредиторов, полковых дам и самих полковников.

Глаз с маленькой, чрезвычайно бледной голубоватой радужкой в упор взвешивал и оценивал человека не более пяти секунд. Люди приличные (кавалергарды либо мастерски гоняющие в поло) могли рассчитывать на гордое, но достаточно вежливое обращение; прочая шваль крайне, органически непреодолимо, презиралась. Тут даже не имел значения имущественный статус, шушера оставалась шушерой. Конечно, бедность аристократу была противна в связи с привычками низменной голи, но столь же отвращало вульгарное барство. Тратя – пока, правда, лишь в цифрах неоплаченных счетов – огромные суммы на экипировку, лейтенант соблюдал режим строжайшего аскетизма. Жесткая норма спиртного и

сигарет, узкая раскладушка (с шелковой пижамой), только холодные в любой сезон ванны и т. д. Все во имя спортивной формы и настоящей верховой выездки. Ось жизни, самое ее дыхание и вдохновение, составляли такие святыне вещи, как стук копыт по плацу, кентавром несущее седло и влипшая в ладонь послушная клюшка для поло. Бирманские европейцы – дряблые, ленивые, развратные алкоголики – вызывали чувство почти физической тошноты. Что касается всяких там общественных обязанностей, такие «фигли-мигли» не стоило замечать. Женщин же, этих назойливых сирен, норовящих вязаться со своими чашечками чая наедине или парной беготней по теннисному корту, требовалось держать на дистанции. Не то чтобы лейтенант вовсе не имел дела с женским полом, иногда все же приходилось уступать вскипавшим в молодой голове фантазиям, но скорое брезгливое пресыщение помогало легко и просто рвать пути любовных связей, и подобных оков за два года военной службы им было сброшено более дюжины.

Прошла неделя – даже знакомство с Веррэллом еще не состоялось! Каждое утро и каждый вечер Элизабет с тетушкой, направляясь в клуб или обратно, дефилировали краем плаца, и почти всякий раз видели скачущего лейтенанта с его ассистентами-сипаями. Тщетно! Разочарование становилось просто невыносимым. Однажды слишком сильно пробитый мяч подкатился чуть ли не к самым их ногам, дамы замерли. Увы, за мячом прибежал сипай, всадник не двинулся с середины поля.

Следующим утром, выйдя из ворот, миссис Лакерстин слегка замедлила шаг (к услугам рикши она последние дни не прибегала). В центре плаца блестел штыками пропыленный строй полицейских солдат, вытянувшихся перед своим офицером, одетым по-спортивному, без лишнего для смотра этой шпаны мундира. Обе женщины смотрели куда угодно кроме Веррэлла, умудряясь в то же время не сводить с него глаз.

– Как это гадко! – весьма неожиданно объявила миссис Лакерстин, но восклицание было лишь светским вступлением к важному сюжету. – Как это гадко, что твоему дяде необходимо срочно возвращаться в джунгли.

– Срочно?

– Боюсь, что да. О, совершенно несносный сезон для лесных дел, такие несносные москиты!

– А нельзя отложить чуть-чуть, хотя бы на неделю?

– Боюсь, никак. Том уже месяц в городе, и фирма не потерпит дальнейшего промедления. Нам с тобой, разумеется, тоже придется ехать в этот кошмарно скучный лагерь. О, эти москиты – ужас!

Поистине ужас! Уехать, так и не бросив лейтенанту любезного «как

поживаете?»! Однако долг верной супруги требовал ехать, греховные соблазны могли настичь Томаса Лакерстина даже в джунглях. Рябь огнем пробежала по штыкам – отряд сипаев перестраивался в колонны по четыре, готовясь покинуть плац. Появились ординарцы с пони и клюшками для поло. Миссис Лакерстин приняла героическое решение.

– Пожалуй, – сказала она, – сегодня мы пойдем напрямик, так утомительно обходить это поле.

И пусть такое «напрямик» сквозь свирепую травяную чащу грозило порядком изранить ноги в тонких чулках! Тетушка храбро ступила в траву и, дерзновенно отбросив маскировку насчет похода в клуб, коршуном устремилась к офицеру, Элизабет за ней. В истории коварных женских войн столь беспримерную открытую атаку следовало признать великим подвигом. Веррэлл, увидев приближение противниц, чертыхнулся и придержал пони. Теперь от этих скотских мух не отмахнешься! Чертовы бабы! Медленно и хмуро он ехал к ним, подстегивая мяч мелкими точными ударами.

– Доброе утро, мистер Веррэлл! – издалека медовым голосом пропела миссис Лакерстин.

– Доброе утро, – буркнул Веррэлл, мазнув небрежным взглядом какую-то из захолустных старых куриц.

В ту же секунду рядом с тетей возникла Элизабет. Очки она сняла и обмахивалась снятой панамой. Господи, ну какой солнечный удар, если у вас очаровательная стрижка? Порывом ветерка – внезапно проносящегося в зной благословенного ветерка! – легкое платье, прянув назад, облепило стройную гибкую фигуру. Приятно удивленный Веррэлл чуть откинулся. Чуткая кобылка мгновенно вздыбилась, но, послушная узде, тут же опустила копыта. До сих пор офицер не знал и не заботился узнать, есть ли в городке барышни.

– Моя племянница, – пояснила миссис Лакерстин.

Лейтенант не ответил, но бросил клюшку и снял шлем. Глаза его на миг пересеклись с глазами девушки. Безжалостно яркий свет лишь подчеркивал свежесть гладкой молодой кожи. А Элизабет! Хотя колючая трава отчаянно жгла голени, а лицо офицера виделось без очков белесым пятном, сердце ее ликовало! Взволнованная кровь прилила к щекам, окрасив их прозрачным румянцем. «Хм, персик!», – вынужден был про себя отметить лейтенант. Даже во взглядах угрюмых, пристально наблюдавших сцену индусов блеснуло любопытство, вызванное красотой этой пары.

Миссис Лакерстин нарушила долгую паузу:

– Ах, мистер Веррэлл, – лукаво прочиркала она, – жестоко лишать нас, бедненьких, такого удовольствия, как новый гость в нашем клубе! Мы же зачнем от тоски!

Веррэлл по-прежнему глядел только на Элизабет, когда, разжав губы, проговорил в поразительно изменившей тональности:

– Да я все собирался зайти на днях, но мне своих болванов надо было распихать по казармам и все такое. Прошу прощения, – добавил он, изменяя своей манере не деликатничать ради этой девчонки, просто конфетки.

– О, никаких извинений! Мы, разумеется, понимаем. Но ждем, сегодня непременно ждем вас! А то, знаете, – лукавство мадам достигло пределов грациозности, – мы начнем думать, что вы очень гадкий и непослушный!

– Прошу прощения, – повторил Веррэлл. – Вечером буду.

Взяв неприступную крепость, победительницы проследовали в клуб, где, однако, высидели лишь несколько минут, ибо истерзанные травой ноги требовали спешно бежать домой, переодеть чулки.

Веррэлл честно исполнил обещание и вечером прибыл в клуб. Прибыл несколько раньше прочих, немедленно дав почувствовать свое появление. Наперерез чуть позже явившемуся Эллису из комнаты для бриджа выскочил карауливший там старый бармен. Он трясся, по щекам его катились слезы.

– Сэр! Сэр!

– Ну, что еще такое? – проворчал Эллис.

– Сэр! Новый белый хозяин пинал меня, сэр!

– Чего мелешь?

– Бил меня! – голос задрожал плаксивым стоном. – Би-и-ил!

– Правильно делал. А кто бил-то?

– Новый сахиб, сэр, офицер военной полиции. Ногой меня, сэр, прямо вот сюда! – он потер себе ниже спины.

– Мать твою! – скрипнул зубами Эллис.

Сидевший в салоне Веррэлл демонстрировал лишь сжатые по краям газетного листа пальцы и пару сияющих темно-коричневых ботинок. Чьи-то шаги не потревожили его. Эллис остановился на пороге.

– Эй, вы! Веррэлл, что ли, зовут вас?

– А?

– Вы пинка дали нашему бармену?

Бледное око недовольно блеснуло у края газетного листа глазом выползающего из-за камня рака.

– Что?

– Вы, говорю, чертову бармену поддали?

– Я.

– А с чего это вы разошлись-то?

– Ваш чумазый взялся тут рыло мне кривить. Притащил виски с содовой, я приказал побольше льда, а эта мразь зашепелявила про «экономия» каких-то последних кусочков. Я пнул как полагается. Пусть служит, рабское отродье!

Эллис побелел. Его разрывало от ярости. Никому не позволено пинать чужих слуг, у которых свои сахибы есть. Особенно злило, что этот Веррэлл наверняка сейчас подозревает его, Эллиса, в слюнявом сочувствии черномазым.

– Чертово рабское отродье пусть служит! Вы-то что? Ваше-то какое право колотить наших негритосов?

– Не тарахти, приятель. Нужно было пнуть. Вы распустили слуг, я поучил.

– Какого черта! Всякая тля наглая еще будет пинки тут раздавать? Учить? Давай, полегче в чужом клубе!

Чуть опустив газету, Веррэлл выставил оба рачьих глаза. Лейтенант никогда не терял хладнокровия с европейцами, надменный скрипучий голос не повысился ни на полтона. Это не требовалось.

– Эй, приятель, когда мне кривят морды, то я даю под зад. Хочешь пинка?

Эллиса будто водой окатили. Он не боялся, никогда и ничего он не боялся, только вот этот взгляд мгновенно пришибал валом гигантской арктической волны. Ругань застряла в глотке, голос вдруг осип. Интонация сделалась вопросительной, почти просительной:

– Ну, а чего он, черт дери, должен был класть вам последний лед? Все, что ли, одному вам? Нам сюда лед не каждый день привозят.

– Значит, тухло поставлено у вас, – подвел итог Веррэлл и вновь закрылся развернутой газетой.

Изнывая от бессилия, задыхаясь от этого сонного равнодушия за газетным листом, Эллис раздумывал, не встряхнуть ли щенка отменной плюхой? Но как-то не вышло. А у Веррэлла получалось всегда, и хотя за ним числилось немало пинков, сам он пока не получил ни одного, да и вряд ли мог получить их в будущем. Тихонько выскользнув, дабы излить бушующие чувства на голову чертова бармена, Эллис оставил лейтенанта царствовать в салоне.

У ворот клуба до мистера Макгрегора донеслись звуки музыки. Сквозь густо обвивавшие ограду теннисного корта заросли проблескивал желтый

фонарный свет. Мистер Макгрегор находился в чудесном настроении. Он собирался сегодня неспешно побеседовать с мисс Лакерстин (девушкой исключительного интеллекта!), приготовившись рассказать ей необыкновенно интересный, уже изложенный в одном из его очерков для «Страны лесов», случай военной стычки в Сагэнге, в 1913 году. Это, конечно, произведет на нее впечатление. Предвкушая прелестный вечер, мистер Макгрегор обогнул лиственную стену. На корте, в смешанном свете луны и развешенных по ветвям лампочек, танцевали Веррэлл с Элизабет. Слуги вынесли сюда стол, стулья и патефон; члены клуба расположились кругом зрителей. Так как мистер Макгрегор замер на углу площадки, пара кружила и скользила буквально в метре от него. Лейтенант с девушкой танцевали очень близко друг к другу, она – гибко откинувшись под его нависающим торсом. Представителя комиссара никто не заметил.

Ощувив печальную пустоту в груди, Мистер Макгрегор обошел площадку. Прощай, надежда на беседу с мисс Лакерстин! Необходимость вылепить на лице улыбку славного простого парня потребовала экстраординарных усилий. Он подошел к столу.

– Бал Терпсихоры! – отметил он с обычным остроумием и необычной ноткой грусти.

Молчание. Все смотрели на танцующих. Забыв о публике, Элизабет и Веррэлл кружились и кружились, туфли их плавно скользили по гладким бетонным плиткам. Лейтенант танцевал с изяществом, не уступавшим его верховому искусству. Патефон томно квакал «Птичку», песенку, что чумой разлилась по свету, заразив даже бирманскую глухомань.

Спой, птичка, как дойти до до-ома?
За-акат погас, и сил уж нет.
Свалил меня стаканчик ро-ома,
Но ско-оро оживит рассвет!

Стараниями неустанно возвращавшей патефонную иглу на край пластинки миссис Лакерстин, нудная чушь снова и снова сотрясала ароматный вечерний воздух. Луна, как разметающаяся на мятых облаках страдальца, измученно глядела вниз. Пара, белея в полутьме единым чувственным силуэтом, танцевала без усталости. Мистер Макгрегор, Эллис, Вестфилд и мистер Лакерстин наблюдали, руки в карманы, не размыкая рта. Кто-то заказал выпить, но виски горчило. Джентльменов грызла жестокая зависть.

Веррэлл не глянул на миссис Лакерстин ни когда приглашал ее племянницу на танец, ни когда наконец усадил девушку. Остальных он вообще не видел. Просто в течение получаса монополизировал Элизабет, а затем, кратко пожелав Лакерстинам (только им) доброй ночи, покинул клуб. Элизабет осталась в тумане счастливых грез. Он пригласил на прогулку верхом! Он предложил воспользоваться его пони! О! Она даже не заметила вызывающей невежливости распаленного Эллиса. Домой Лакерстины вернулись поздно, но дамам было не до сна. Лихорадочно переделывались узковатые для Элизабет тетушкины бриджи.

– Надеюсь, дорогая, ты умеешь справляться с лошастью?

– О да! Мне дома довольно часто доводилось ездить верхом.

Опыт ограничивался десятком случаев в подростковом возрасте, но рядом с лейтенантом Элизабет готова была оседлать даже тигра.

Когда брюки удалось подогнать как надо и девушка примерила их, мадам Лакерстин вздохнула. Племянница смотрелась восхитительно, просто восхитительно! Страшно подумать, что не завтра, так послезавтра им предстоит на недели, может месяцы, уехать в джунгли, за многие мили от блистательного холостого лейтенанта. Какое горе! Наверху, прощаясь перед спальней, миссис Лакерстин чуть помедлила. Она решилась на безумную жертву. Впервые обняв Элизабет с признаками некой реальной теплоты, тетя сказала:

– Дорогая, покинуть сейчас город будет просто постыдно!

– Сейчас...

– Так вот что, моя дорогая! Твой дядя отправится один. Мы не поедem в эти ужасные джунгли. Нам нельзя уезжать из Кьяктады!

Жара день ото дня свирепела. Апрель заканчивался, но до ливней еще было не меньше месяца. Даже волшебные рассветы меркли в предчувствии близкого зноя, часами изводящего головной болью и ярчайшим светом, проникавшим сквозь любые шторы, резавшим склеенные дремотой веки. И белые и азиаты сникли, бессильные бороться с дневной апатией, а ночью – с треплющей под собачий вой всех без разбора жестокой лихорадкой, заливающей постель ручьями горячечного пота. Тучи москитов в клубе вынуждали постоянно жечь по углам ароматические палочки, женщинам приходилось держать ноги в плотных полотняных мешках. Только стоический молодой Веррэлл да молодая, переполненная счастьем Элизабет смогли остаться безразличными к дикой жаре.

Клуб эти дни бурлил сплетнями и злословием. Веррэлл все так же воротил нос. Он регулярно являлся вечерами на час-другой, но ни с кем не общался, выпивку отвергал и односложно обрывал попытки втянуть его в беседу. Заняв под самым опахалом священный трон миссис Лакерстин, закрывался газетой в ожидании Элизабет, потом болтал с девушкой или кружился с ней под патефон, а затем, не кивнув членам клуба на прощание, стремительно исчезал. Помимо главной скандальной темы доходили слухи о мистере Лакерстине, который скрашивал одиночество в лесах компанией неких неправедных бирманок.

Совместные выезды лейтенанта с Элизабет сделались почти ежедневными. Об отмене сакральных конноспортивных упражнений по утрам, нельзя было, разумеется, и помыслить, но временный отказ от вечернего тренинга офицер считал возможным. Верховая езда далась девушке столь же легко, как охота, она даже смело призналась кавалеру, что опыта у нее «маловато». Впрочем, это мигом разоблаченное глазом Веррэлла вранье особых хлопот не доставляло – в седле, по крайней мере, красotka держалась прочно.

Обычно они ехали красноватой закатной дорогой сквозь джунгли, верхом переправлялись через речной брод у огромного, обвитого гущей орхидей пинкадо и далее следовали пробитой телегами лесной тропой, где мягкая пыль позволяла пустить пони в галоп. Джунгли полнились засушливой духотой, слышалось рокотание дальних, не проливавших ни капли, гроз. Взлетая из-под копыт, вокруг кружили, долго еще сопровождали крохотные быстрые ласточки. Элизабет ездила на кауром

пони, Веррэлл на белом. Обратной дорогой потемневшие от пота лошади шли так близко, что колени всадников порой соприкасались. Веррэлл при большом желании мог все-таки, умерив спесь, беседовать довольно дружелюбно, и такое желание подле Элизабет он проявлял.

Ах, сладость этих верховых прогулок! Сидя в седле, переселившись в упоительный высший мир породистых жеребцов, бегов и скачек, поло и конной охоты! Уже за одни глубочайшие познания о лошадях Веррэлл можно было полюбить навеки. Как прежде об охотничьих приключениях Флори, Элизабет просила рассказывать о лошадях еще, еще! Рассказчиком Веррэлл, честно говоря, был неважным; описания, в основном, сводились к рваным репликам по поводу тех или иных «классных» пасов на матчах и перечислению полковых стоянок. Но, разумеется, любой косноязычный звук тут волновал сильнее самых залиvistых трелей Флори – внешность лейтенанта была дороже всяких слов. Это мужественное лицо! Эта осанка! Эта дивная аура армейской элиты, в сиянии которой рисовался прекрасный рыцарский роман из жизни божественных кавалергардов. Виделось солнце Ассама и Бенгалии, ряды казарм, кавалерийский клуб и жесткий бурый газон для поло, отряды загорелых всадников с пиками наперевес и летящими по ветру концами плотно намотанных пагри; слышались клич трубы, звон шпор и музыка выстроенного перед клубом эскадронного оркестра, улаждающего сидящих за обедом офицеров, в их великолепных тугих мундирах. Какая роскошь, какой шик! И это, всем трепещущим сердцем чувствовала она, был ее, ее мир! Сейчас Элизабет, почти как сам Веррэлл, жила, дышала, грезилась лошадьми, даже как-то поверила, что и раньше ей верхом «доводилось довольно часто».

В общем, им вместе бывало просто замечательно. Никогда он не докучал, не раздражал, как Флори (о котором она практически забыла; изредка, случайно мелькала в памяти его щека с пятном). Сближала также общая неприязнь к «умникам». Веррэлл обмолвился однажды, что с юности не брал в руки книжную тухлятину, «ну, кроме разных анекдотов и все такое». После третьей или четвертой прогулки, расставаясь с Элизабет у дома Лакерстинов – все радушные приглашения тетушки лейтенант успешно отбивал и заходить в этот курятник не собирался, – Веррэлл заправским грумом взял под уздцы пони, привезшего девушку.

– Знаете что, – объявил кавалер, – я вот что, в следующий раз сядете на Белинду. Нормально, только мундштук не дергайте, она не переносит.

Белиндой звали арабскую кобылку, которую лейтенант до сих пор не доверял даже конюхам. Высшего расположения проявить было невозможно. Элизабет растаяла от умиленной благодарности.

Назавтра, когда они возвращались рядом, Веррэлл протянул руку и, обняв девушку за плечи, резко развернул к себе. Он был очень силен. Губы их встретились и слились. Мгновение спустя, перехватив одной рукой ее поводья, другой своей стальной рукой он поднял девушку, поставил ее на землю и, продолжая крепко удерживать обе уздечки, соскользнул сам. Пара застыла в тесном долгом объятии.

Этим же днем Флори одолевал пеший переход в двадцать миль от своего лагеря до Кьяктады. Шагая краем пересохшей лесной речки и надеясь очередным измором хоть как-то отогнать хандру, он приостановился вблизи стайки хлопотавших под кустом диких кур. Суетливо топчась среди полных семян, но недоступно высоких, жестких травяных стеблей, мелкие бурые подружки отливавшего хромовой зеленью петуха вспархивали, чтобы согнуть травину всем своим воробьиным весом. Хмуро понаблюдав эту возню, Флори запустил палкой в скучных, ничуть не радующих птиц. Вот если бы она, она стояла рядом! Все погасло, все сделалось неинтересным без нее. Горчайший, успевший настояться, яд утраты отравлял теперь каждый миг существования.

Необходимость пройти сквозь клочок джунглей заставила его минуту помахать в чаще острым дахом; ослабевшие руки и ноги налились свинцом. Он постоял. Заметив выюнок дикой ванили, потянулся вдохнуть аромат узких стручков – пряно потянуло сиротливой смертной тоской. Один, «один на своем острове в пучине житейских волн»^[26]. Боль взвилась так остро, что Флори с размаху трахнул по стволу дерева кулаком, разбив косточки на суставах. Он шел в Кьяктаду, потому что больше не мог. Хотя это было безумием (прошло лишь две недели), хотя единственным шансом было бы дать ей время успокоиться, подзабыть, – нет, он не мог. Он погибал наедине с черными думами в этом дремучем мертвом лесу, потерявшим всякий смысл и отраду.

Накануне блеснула счастливая идея забрать у арестанта кожевника шкуру леопарда и таким образом получить повод увидеть ее, ведь гостей с подарками не гонят. И он теперь не даст ей ускользнуть, он объяснит, докажет несправедливость ее обиды. Нельзя судить его за Ма Хла Мэй, которую он выгнал ради нее. И разве она не простит, услышав всю правду? Она должна выслушать, он заставит – как угодно, хоть руки свяжет, но заставит до конца выслушать его.

Мысль осенила ближе к вечеру, и Флори решил немедленно отправиться в двадцатимильный поход, подстегивая себя чрезвычайно разумным соображением насчет ночной прохлады. Слуги едва не взбунтовались; старый Сэмми в последний момент просто изнемог и лишь

порцией джина оживил себя для предстоящей экспедиции. Ночь выдалась темная. Путь освещали фонарями, в отблеске которых глаза у Фло мерцали изумрудом, а у волов – желтоватым лунным камнем. На рассвете слуги остановились собрать хворост, приготовить еду на костре, но сгоравший от нетерпения Флори устремился вперед. Леопардовая шкура звала, окрыляя радугой надежд. Переплыв реку на сампане, часов около десяти он уже притопап к дому доктора Верасвами.

Хозяин пригласил его позавтракать и, дав жене быстренько скрыться где-то в недрах дома, провел грязного и небритого гостя в свою ванную. Во время завтрака кипевший возмущением доктор без передышки клеймил «крокодила», чьи интриги разжигали уже вот-вот готовый вспыхнуть дикий псевдомятеж. Флори едва удалось вставить свой вопрос:

– Да, кстати, доктор, как там эта шкура? Отделал ваш мастер-рецидивист?

– Ахха!.. – несколько смущенно ответил доктор, потирая нос. Поскольку из-за яростного сопротивления застенчивой хозяйки завтракали они вдвоем на веранде, доктор скрылся в комнатах и через секунду явился со скатанной звериной шкурой.

– Видите ли, друг мой, какое дело... – начал он, разворачивая сверток.

– Господи!

Шкура была ужасна. Жесткая как картон, с изнанки в трещинах, мех потускнел, местами просто вылез, притом она жутко воняла. Короче, мусорный хлам.

– Боже мой, доктор! Как? Черт знает что!

– Простите, друг мой! Мне самому так неловко. Ничего лучше не получилось, никого в тюрьме не нашлось с должным опытом.

– Но, черт его дери, вы ж говорили, что мастер экстракласса!

– Да-да, но только, к сожалению, третья неделя, как он ушел.

– Ушел? Ему бы вроде сидеть и сидеть?

– Ахх, вы не поняли, друг мой? Не знали, что шкуры изумительно выделявал Нга Шуэ О?

– Кто?

– Сбежавший при помощи У По Кина бандит, разбойник.

– А-а, проклятье!

Неудача сразила наповал. И тем не менее, сходяв домой, приняв ванну, переодевшись, около четырех Флори позвонил у ворот Лакерстинов. Являться было, конечно, рановато, сиеста еще не кончилась, но он хотел застать Элизабет наверняка. Разбуженная, не готовая к визитерам, миссис Лакерстин встретила его без улыбки и даже не пригласила сесть.

– Боюсь, мистер Флори, Элизабет не сможет спуститься. Она одевается на верховую прогулку. Будьте любезны, скажите, что передать.

– Хотелось бы, с вашего разрешения, все же увидеть ее. Я принес ей шкуру того леопарда, которого мы вместе застрелили.

Мадам Лакерстин оставила его в гостинной тревожно маяться и натекать на все углы, однако привела племянницу, успев шепнуть за дверь: «Избавьтесь, пожалуйста, поскорее от этого господина, моя дорогая! У меня от него страшно ломит виски!».

Когда Элизабет вошла, сердце его подскочило к горлу, перед глазами поплыл красный туман. Чуть загоревшая, она стояла в брюках и шелковой рубашке. Ошеломляюще, как-то по-новому красивая. Флори шатнуло, храбрость вмиг до капли испарилась. Вместо шага навстречу он попятился, сзади грохнуло – опрокинулся столик, покатила ваза с букетом цинний.

– Извините! – в страхе воскликнул он.

– О, что вы, не стоит беспокоиться!

Она помогла поставить столик, болтая при этом самым веселым, беспечным образом: «Вы весьма долго пропадали, мистер Флори! Ну просто чужестранец! Мы так давно не видели вас в клубе!»... И на каждом втором слове бурный нажим, со столь убийственной ясностью проявляющий желание женщины отгородиться стеной. Он еле дышал, боясь взглянуть на нее. Руки тряслись, пришлось помотать головой, отвергнув сигарету из любезно протянутой Элизабет пачки.

– Я принес вам ту шкуру, – глухо выговорил Флори.

И развернул подарок на только что поднятом столике. От позорности этого корявого, плешивого убожества прошибло холодным потом. Девушка наклонилась к презенту, нежная щека-лепесток засияла почти рядом, повеяло теплотой ее кожи. Не выдержав, он слегка подался назад. Она в этот момент тоже, вдохнув запах гнили, отпрянула. Стало так стыдно, будто вовсе не мех оказался гнусной вонючей пакостью.

– Спасибо, вы слишком добры, мистер Флори! – Она отступила подальше от столика. – Такая дивная, дивная шкура!

– Была. Боюсь, ее вконец испортили.

– Нет-нет! Я буду обожать ее! Надолго вы теперь в Кьяктаду? В джунглях сейчас, должно быть, жуткая жара!

– Да, духотища.

И поехало. Три минуты исключительно о погоде. И все, что он готовился сказать, все аргументы, умоляющие оправдания, все увяло на языке. (Болван, кретин! Ты что? Для этого ты неси за двадцать миль? Говори! Ну давай, заори, схвати, бей, трясина ее – что-нибудь, только заткни

кошмарный фонтан этой чуши!). Бесполезно, голос его послушно тренькал всяким вздором. Какие мольбы и объяснения могли вклиниться в ручеек веселенького щебетания? Где же их учат так чирикать? В этих бойких модных школах для девочек, не иначе. Красующаяся на столике пакость душила стыдом. Так он и стоял, давясь словами, жалкий, несуразный, с измятым после бессонного ночного марша лицом, со своим шлепком грязи на щеке.

Она быстро спровадила его.

– А теперь, мистер Флори, простите, мне в самом деле...

Он, заикаясь, пробормотал: «Не хотите ли, может, мы как-нибудь вечером куда-то? Погулять или, может быть, на охоту?»

– О, сейчас вряд ли, вряд ли. Целыми днями то одно, то другое. Сегодня мы верхом едем с мистером Веррэллом, – добавила она.

Удар пришелся в точку. Новость о ее дружбе с лейтенантом вызвала дрожь. Скрывая зависть, Флори бросил как можно безразличнее:

– И часто вы выезжаете с Веррэллом?

– Почти каждый вечер. Знаете, он такой изумительный лошажник! У него просто целый табун пони для поло!

– Ах да, у меня, разумеется, нет табунов.

Единственное, что им было сказано более-менее серьезно и что ее все-таки несколько задело. Однако она ответила прежним щебетанием, проводив затем Флори до дверей. Через минуту вошедшая в гостиную миссис Лакерстин, морща нос, приказала слугам вынести леопардовую шкуру и немедленно сжечь эту гадость.

Он вернулся к себе, но сидеть в доме не мог; боль словно требовала новых пыток. Болтаясь у ворот под предлогом осмотра ограды, Флори искоса следил за выехавшими на прогулку Элизабет и Веррэллом. (Как безжалостно, как вульгарно она ломалась час назад! Грубейшая брань стократ достойней этой пошлости!) Веррэлл, который только что направлялся к дому Лакерстинов на белом пони, ведя под уздцы каурого, теперь сидел на этом самом кауrom, уступив белую лошадку Элизабет. Они болтали и смеялись, ее плечо в шелковой рубашке вплотную с его плечом. На Флори они не посмотрели.

Фигуры всадников давно исчезли в джунглях, а Флори все слонялся по саду. Солнечные лучи постепенно тускнели, мали выкорчевывал кустики английских цветов, захиревших от собственного чересчур пышного цветения, чрезмерного обилия света и нашествия хищных цинний. В начале аллейки появился унылый индус в набедренной повязке и розовом пагри, над которым высилась объемистая корзина. Поставив корзину и

сложив руки перед грудью, он низко поклонился.

– Что тебе?

– Книга менять, сахиб.

Книжный меняла странствовал коробейником по всей Верхней Бирме. Система обмена состояла в том, что за всякую книгу из его запасов, вы ему, с четырьмя анами доплаты, отдавали любую свою. Впрочем, все-таки не любую. Хоть и неграмотный, меняла распознавал и отказывался брать библии.

– Не-ет, сахиб, – повертев томик в смуглых ладонях, тянул он жалобно, – не-ет. Черным покрытая и буква золотые – не-ет. Уж я не знаю как это, а только все сахибы ее всегда давать хотят и не берут совсем. Чего уж в ней? Одно, верно, худое.

– Ну, доставай свой хлам, – сказал Флори.

Он стал рыться, отыскивая что-нибудь вроде Эдгара Уоллеса или Агаты Кристи, какой-нибудь славный жуткий криминал для успокоения расхоловавшихся нервов и, набрав книг, заметил вдруг волнение охающих, тычущих в сторону леса обоих индусов, садовника и коробейника.

– Деххо! – так у мали с его ртом, будто набитым картошкой, прозвучало индийское «декхта» (вижу!).

Из джунглей вниз по холму неслись два пони, но без всадников. У лошадей был глуповато-виноватый вид сбежавшей от хозяина скотины; болтались, звякая под брюхом, стремяна.

Флори застыл, машинально прижимая к груди стопку триллеров. Нет, тут не несчастный случай – никакому воображению не под силу представить Веррэлла, вылетевшего из седла. Всадники спешили. Лошади убежали, потому что Элизабет и Веррэлл слезли с коней.

Слезли – зачем? Господи, да он знал зачем! Не догадывался, не подозревал, а знал. Буквально видел, как все происходило, с четкостью деталей, во всех мельчайших непристойных подробностях. Яростно отшвырнув книги, он скрылся в доме, к полному разочарованию книгоноши. Слуги слышали его шаги внутри, затем раздался приказ принести бутылку виски. Флори выпил – не полегчало. Тогда он наполнил большой бокал, добавив немного воды, чтоб можно было проглотить, и залпом его опрокинул. И, едва мерзкая, тошнотворная доза пролилась в горло, повторил. Подобное он сделал однажды в лагере, истерзанный зубной болью за сотни миль от дантиста. В семь вечера Ко Сла по обыкновению явился доложить, что вода для ванны согрелась. Хозяин, без пиджака, в порванной у горла рубашке раскинулся в шезлонге.

– Ванна, тхэкин.

Не слыша ответа, Ко Сла тихонько тронул руку спящего. Хозяин был мертвецки, до бесчувствия пьян. Пустая бутылка закатилась в угол, прочертив по полу шлейф сивушных капель. Ко Сла позвал Ба Пи и осмотрел поднятую бутылку, цокая языком.

– Гляди-ка ты! Почти пустая.

– Снова взялся? А вроде бросил пить-то?

– Это все она, уж точно, женщина проклятая. Ну, теперь надо его отнести поаккуратней. Давай, берись за ноги, я под плечи. Так, взяли!

Они перетащили Флори в спальню и осторожно уложили на кровать.

– А он и вправду собирается жениться на «английке»? – спросил Ба Пи.

– Да кто их разберет. Она-то нынче, говорят, в любовницах у офицера. У них все не по-нашему. А вот чего ему сегодня надо, я уж знаю, – кивнул Ко Сла, отстегивая Флори подтяжки и проявляя важное для слуги холостяка искусство раздевать хозяина, не тревожа его сон.

Слуги, в общем, приветствовали возвращение сахиба к безнравственным холостяцким привычкам.

Сам Флори очнулся около полуночи, голый, плавающий в поту. Затылок ломило, будто в него вогнали толстый железный штырь. Москитная сетка была опущена, рядом сидела и легонько обдувала ему нывшие виски молодая полная женщина с милым, африканского типа, бронзово-золотистым при свете свечи лицом. Она пояснила, что проститутка и что Ко Сла нанял ее для своего хозяина за десять рупий.

Голова у Флори раскалывалась. «Ради бога, пить!» – слабым голосом попросил он. Добродушная толстуха быстро (Ко Сла уже держал все наготове) принесла стакан содовой со льдом, затем, намочив полотенце, положила компресс ему на лоб. Звали ее Ма Сейн Галэй, помимо обслуживания клиентов она торговала рисом на базаре, возле китайской лавки. Похмельная голова чуть освежилась. Флори захотел закурить, и, принеся сигарету, Ма Сейн бесхитростно спросила: «Теперь платье снимать, тхэкин?».

А почему бы нет? Флори подвинулся, освобождая место на кровати. Но когда в нос ударило знакомой смесью кокосового масла и чеснока, что-то внутри остро сдавило, и, уткнувшись лицом в пухлое смуглое женское плечо, он заплакал, чего с ним не случалось последние лет двадцать пять.

Утром Кьяктада забурлила – шипевший долгими слухами мятеж наконец вспыхнул. До Флори успел дойти лишь смутный отголосок; очухавшись после ночной пьянки, он сразу вернулся в лагерь. Обо всем произошедшем ему подробно и возмущенно написал доктор, чей экстравагантный эпистолярный стиль отличался зыбким синтаксисом, принятой в божественную шекспировскую эпоху вольностью заглавных букв и соперничавшим с королевой Викторией пристрастием к подчеркиванию. Мелким размашистым почерком было исписано восемь страниц.

«Мой ДОРОГОЙ ДРУГ!

Сердце Ваше удручит и опечалит успех Коварных Крокодиловых Интриг! Мятеж – этот так называемый мятеж! состоялся! Увы, деяние Зла свершилось и Кровь Невинных пролилась!

Все было ужасно! Еще ужаснее, чем я предполагал! Запутанная сеть лжи, горстка несчастных крестьян собралась возле Тхонгвы. В ту же ночь У По Кин со своим тайным приспешником из полиции, неким У Лугэлем – невиданным Прохвостом, и дюжиной констеблей окружили лесной шалаш мятежников. К ним также успел присоединиться находившийся неподалеку Вооруженный инспектор лесов мистер Максвелл. А полчище бунтарей состояло из СЕМИ человек! Наутро, когда клерк Ба Сейн, верный грязный рупор клеветника, пустил по городу крик о мятеже, усмирять бунт отправились сам мистер Макгрегор, мистер Вестфилд с всеми его полицейскими, а также полсотни солдат-сипаев под командой лейтенанта Веррэлла. Однако на месте обнаружилось, что сидящий под деревом посреди деревни У По Кин вразумляет жителей, а вокруг Коленопреклоненная толпа клянется в верности Правительству и молит о пощаде, более – ничего. Подстрекатель колдун, в действительности цирковой фокусник и фаворит главного лиходея! исчез, но шестерых «мятежников» схватили. Такова развязка этой Истории.

Вынужден также известить Вас о прискорбном Смертельном

случае. Когда седьмой бунтовщик попытался сбежать, мистер Максвелл, несколько поторопившись вскинуть свое Ружье, застрелил его. У жителей деревни это, по-видимому, вызвало довольно недобрые чувства, хотя с официальной точки зрения несомненна правота мистера Максвелла – который действовал против опасных заговорщиков.

Но Друг Мой! Вы представляете, чем это обернется – для меня! В свете моего противостояния подлейшему чудовищу теперь на Чаше весов его полный перевес! Это триумф крокодила! ставшего Героем округа и фаворитом европейцев. Даже мистер Эллис, рассказывают, похвалил У По Кина! И теперь нет предела неописуемому Чванству лжеца, который направил мистера Максвелла к шалашу семерых деревенских упрямцев, а сам отсиживался в лесу, но сейчас уверяет, что единолично ринулся на бой с Двумя Сотнями восставших!!! и «револьвер в его руке не дрогнул»!! На Вас наглая похвальба негодяя, не сомневаюсь, произвела бы поистине Тошнотворное впечатление. Этим исчадьем ада сейчас подан – написанный, как мне точно известно, накануне! официальный рапорт, который он имел бесстыдство начать – «Будучи твердо преданным нашей власти, я решил, рискуя жизнью». Душа содрогается от Гнева и Отвращения! И вот, когда он вознесен на вершину славы, его ядовитое жало вновь направится на меня, топча и сокрушая...».

Оружие мятежников было захвачено. В описи этого привезенного в Кьяктаду арсенала значилось:

Дробовик, похищенный три года назад со стоянки лесной инспекции, с поврежденным левым дулом – 1 шт.

Самострелы со стволами из оловянных трубок от железнодорожного оборудования, стреляющие гвоздями посредством предварительного высечения искры кремнем – 6 шт.

Патроны из числа выброшенных на стрельбище ввиду брака – 39 шт.

Ружья фальшивые, изготовленные из тикового дерева – 11 шт.

Хлопушки (китайская пиротехника) для террористических угроз – 1 пачка.

Чуть позже двоих мятежников отправили на пятнадцатилетнюю каторгу, троим вынесли приговор «три года тюрьмы и порка (двадцать пять ударов)», одного посадили всего на пару лет.

Разгром восстания был настолько очевиден, что европейцы

успокоились, а Максвелл возвратился на свой инспекционный пункт. Что касается Флори, он намеревался пробыть в лагере до самых дождей, во всяком случае, не появляться в клубе до общего собрания, где им было решено выдвинуть доктора, хотя в пучине собственных бед все эти дразги между Верасвами и его крокодилом раздражали посторонней докучливой возней.

Ползли неделя за неделей. Дожди запаздывали, а жара крепчала; стоячий зной насквозь, казалось, наполнился лихорадкой. Флори ходил полубольным, лез вместо бригадира в каждую мелочь, злобился, придирался, вызывая ненависть и кули, и собственных слуг. Джин с утра до ночи уже не помогал. Неотступное видение обнимающего Элизабет Веррэлла преследовало гнусным болезненным кошмаром, преследуя во сне, внезапно настигая среди мыслей о работе, комом подкатывая к горлу за едой. Случались припадки дикого гнева, даже Ко Сла однажды получил по уху. Больнее всего были подробности видений. Сражавшие поразительным натурализмом, абсолютно явственные подробности.

Есть ли на свете что-то беспощадней и унижительней желания женщины, которая наверняка не будет вам принадлежать? Воображением воссоздавались все мыслимые и немыслимые убийственно непристойные детали – стандартный продукт ревности. Пока Флори сентиментально обожал Элизабет, ему хотелось не столько ласк, сколько сочувствия, но теперь стала мучить физическая страстная тоска по ней, видевшейся уже вполне трезво, без ангельского ореола – глупой, тщеславной, бессердечной... Ах, какая разница? Бессонными ночами, выскакивая из душной палатки и вглядываясь в бархатную тьму, откуда порой раздавался жуткий лай ги (гиен), он ненавидел свой воспаленный мозг, до дна заполоненный ревностью к лучшему, победившему мужчине. Даже не ревность, а нечто еще горше, еще отчаяннее. Разве имел он право ревновать? У слишком юной и симпатичной девушки были все основания его отвергнуть. Размечтался! Не подлежит обжалованию приговор: не вернется юность, не вычеркнешь годы одинокого горького пьянства, не сотрешь со щеки уродское пятно. Только смотреть со стороны на молодого счастливого соперника, изводясь явно неутешительным сравнением. Особая боль у мучений откровенной, низменной зависти – боль с омерзением к самому себе.

Были ли, впрочем, справедливы подозрения Флори? Стал ли Веррэлл действительно любовником Элизабет? Никто не знал, скорее нет, ибо все на виду в таких местечках, как Кьяктада. Тут лишь у миссис Лакерстин могли быть некие основания для выводов. Одно было несомненно – предложения

Веррэлл не делал. Неделя, и вторая, и третья (а три недели в британо-бирманской глуши срок долгий), ежевечерние совместные прогулки верхом, как и ночные танцы на клубном корте, продолжались, тем не менее лейтенант по-прежнему не переступал порога Лакерстинов. Толки и пересуды относительно Элизабет, конечно, шли вовсю. Восточное население уверенно полагало ее сожительницей Веррэлла. Версия У По Кина – ложная в частностях, но достаточно верная по сути – состояла в том, что барышня отшила своего хахаля Флори ради офицера, платившего ей больше. Эллис также не уставал творить сюжетные узоры, заставляя очень кисло кривиться мистера Макгрегора. Ушей ближайшей родственницы, миссис Лакерстин, скандальный шум, естественно, не достигал, но и она уже начинала беспокоиться. Каждый вечер с надеждой ожидалось от вернувшейся Элизабет: «О, тетя! Вы сейчас так удивитесь!», но великолепная новость не поступала, и лицо девушки под лупой самых пытливых взглядов хранило божественный покой.

Через три недели беспокойство тетушки окрасилось гневливой нервозностью, тем более что тревогу весьма подогревал супруг, столь, а быть может «и не столь уж», страдающий в джунглях от одиночества. В конце концов, она решилась отпустить его без присмотра, чтобы дать незамужней племяннице шанс с Веррэллом (на языке миссис Лакерстин мотивы звучали, конечно, гораздо благородней). Так или иначе, однажды вечером Элизабет удостоилась изящно-косвенной, но безжалостной нотации. Воспитательная беседа выразилась монологом со вздохами и продолжительными паузами после вопросов, повисавших в ответной тишине.

Начала тетушка некоторым общим замечанием по поводу демонстрирующих в «Модном силуэте» пляжные пижамы легкомысленных нынешних девиц, которые так дешево держат себя с джентльменами. Решительно осудив эту развязность, миссис Лакерстин противопоставила собственный опыт и подчеркнула, что сама она всегда держалась исключительно дорого. Здесь, однако, не совсем довольная своей формулировкой тетушка сменила курс, перейдя к изложению полученного из Англии письма, где сообщалось о судьбе той самой бедненькой милой девушки, что безрассудно пренебрегла возможностью обрести в Бирме семейное счастье. Душераздирающие страдания несчастной лишний раз доказывали необходимость выходить за любого, буквально за любого! А теперь? О-о! Потеряв работу и практически вынужденная голодать, бедняжка смогла найти только место кухонной прислуги под началом противного, грубого и жестокого повара. И там, на кухне всюду эти

кошмарные тараканы! Не кажется ли Элизабет, что это просто предел ужаса? Тараканы!

Миссис Лакерстин помолчала, дав мерзким насекомым скопиться в достаточно устрашающем количестве, и добавила:

– Как жаль, что мистер Веррэлл с началом дождей оставит нас. Без него Кьяктада совершенно опустеет!

– А когда начинаются дожди? – откашлявшись, проговорила Элизабет

– Обычно в начале июня. Через неделю, может две... О. дорогая, это глупо, но у меня из головы не идет та бедненькая милая девушка – над грязной кухонной раковиной, среди отвратительных тараканов!

Жуткий тараканий призрак еще многократно являлся на протяжении длившейся весь вечер душевной беседе. Лишь наутро тетушка мимоходом обмолвилась в перечне мелких новостей:

– Кстати, и Флори, должно быть, скоро появится; он собирался непременно присутствовать на общем клубном собрании. Надо бы, видимо, как-нибудь пригласить его к обеду.

После визита со шкурой леопарда о Флори дамы начисто забыли. Сейчас обеим припомнился и он (как говорят французы, *pis aller* – на худой конец).

Пару дней спустя миссис Лакерстин вызвала мужа, заслужившего краткий городской отпуск. Томас Лакерстин явился, с физиономией багровевшей сильнее всякого загара, с необычайной дрожью в руках, не способных зажечь спичку, и немедленно отпраздновал возвращение, на время удалив супругу и весьма энергично попытавшись задрать юбку племяннице.

Все это время разгромленный до основания сельский бунт, как ни странно, под пеплом продолжал тлеть. Надо полагать, «колдун» (уехавший в Мартабан торговать зельем, превращающим медь в золото) справился с порученным делом не просто хорошо, а блестяще. Во всяком случае, имелась вероятность новой бессмысленной мятежной вспышки, о которой не знал даже сам У По Кин. Хотя он-то мог не тревожиться – небеса, неизменно благосклонные к нему, любым до смерти пугавшим власти туземным возмущением лишь приумножили бы его славу.

«Эй, ветер западный, когда ж своим порывом Ты влагу туч прольешь потоком струй шумливых?»^[27] Наступило первое июня, день общего собрания в клубе. Дождь все не начинался. Полуденное солнце, паля голову и сквозь панаму, нещадно жгло голую шею вошедшего в сад клуба Флори. Тащивший на коромысле две жестянки с водой полуголый потный мали поставил ношу, плеснув несколько капель на смуглые ступни, и склонился перед господином.

– Ну, мали, будет дождь?

– На холмах льет уже, сахиб, – махнул садовник рукой к западу.

В Кьяктаде бывало так, что холмы вокруг давно хлестало ливнем, а городок до конца июня оставался сухим. Земля на клумбах спеклась грудками серых комьев, твердых как цемент. Сидя у террасной сваи, лицом в полосатой пальмовой тени, спиной к солнцу, чокра неумоимо дергал босой пяткой петлю опахала. В салоне Флори нашел Вестфилда, пристально созерцавшего сквозь щель бамбуковой шторы гребешки бесконечных речных волн

– Салют, Флори! Прожарился до косточки?

– Как все.

– Н-да! Драная погода! Аппетит на нуле. Черт, душа жаждет лягушачьих песен на болоте. Хлопнем по чарочке, скрасить ожидание кворума? Бармен!

– Известно уже, кто будет? – спросил Флори, когда лакей принес стаканы виски с содовой.

– Весь экипаж на палубу. Лакерстин тоже позавчера вернулся. Что этот бродяга творил вдали от женушки! Согласно донесению моего инспектора, времени не терял, выписал себе роту шлюх. А спиртного – старушка его охнет, увидев счет из бара, – одиннадцать бутылей за две недели!

– И знатный Веррэлл явится?

– Ни-ни, не состоящий в клубе постоянным. Да наглый пес и так бы не подумал. Максвелла, вот, не будет – не сможет, написал, оставить лагерь, доверил свой голос Эллису. Если вообще выпадет фишка голосовать, э? – прищурился Вестфилд, памятуя последнее столкновение с Флори.

– Это уж, видимо, на усмотрение Макгрегора.

– Ежели старик опять возжаждет сунуть сюда аборигена? Не момент. После бунта и все такое.

– Что там с бунтом, между прочим? – ухватился за побочный сюжет Флори, мечтая хотя бы оттянуть неизбежную свару. – Шушукаются, что в деревне опять беспокойно, похоже на правду?

– Бросьте думать, сэр! Струхнули черти. Тишь, как на диктанте в классе робких прилежных крошек. Скукотища.

Сердце у Флори оборвалось – в соседней комнате чирикнул голосок Элизабет. Вошел мистер Макгрегор, следом Эллис и Томас Лакерстин. Кворум был налицо (дамы избирательного права не имели). Облаченный в шелковый костюм мистер Макгрегор, умея и мельчайшим общественным деяниям сообщать надлежащую солидность, торжественно нес книгу протоколов.

– Ну что ж, друзья мои, – после обычных приветствий начал он, – коль все мы собрались, не приступить ли, м-м, к трудам праведным?

– Веди на бой, Макдуф! – усаживаясь, одобрил Вестфилд.

– Кликните кто-нибудь чертова бармена, – прошептал Лакерстин. – Я не могу, супружница услышит.

– Прежде чем мы приступим к повестке дня, – сказал мистер Макгрегор, отказавшись от виски и дождавшись, пока остальные выпьют, – не желаете ли, друзья мои, пробежаться по накопившимся с начала лета счетам?

Друзья отозвались молчанием, но мистер Макгрегор, с его пристрастием к строгой отчетности, принялся звучно смаковать колонки цифр. Мысли Флори блуждали далеко. Ох, какой рев скоро поднимется! Ураган взвоется, когда он все-таки предложит кандидатуру доктора! Элизабет за стенкой. Господи, хоть бы ей не очень было слышно! Затравленного, она будет еще сильнее презирать его. Получится ли нынче ее увидеть? Станет ли она разговаривать? Флори пристально смотрел на могучую, с четверть мили шириной, реку. На том берегу стайка людей, и кто-то, в изумрудном гонгбонге, подзывает плывущий мимо сампан. А посреди реки огромная индийская баржа еле-еле таранится против течения; для каждого рывка десятков худющих дравидов забрасывают длинные примитивные весла с лопастями в виде сердечек, а затем тащат их обратно, гибко разгибая скорченные фигурки, продвигая горой груженую посудину на ярд-другой. И снова, задыхаясь, кидают черные тощие тела вперед, проталкиваясь сквозь напирющие волны.

– А теперь, – внушительно объявил мистер Макгрегор, – главный пункт сегодняшней повестки дня, наиболее, э-э, я бы сказал, терпкий, вопрос о приеме в клуб представителя коренного населения. На предыдущем обсуждении...

– К чертям собачьим! – вскочил Эллис. – Опять, что ли, снова-здорово? Опять впихивать черномазых? Сейчас-то, после всего? Даже уж Флори небось не пикнет!

– Наш друг Эллис, кажется, удивлен? Мнения, я полагаю, успели отстояться.

– Успели, успели! Заявили мы уже, на хрен, свое мнение! Господи боже, это ж...

– Может быть, наш друг Эллис несколько успокоится и на минуту присядет? – со стоической терпимостью предложил мистер Макгрегор.

Божась и чертыхаясь, Эллис откинулся на стуле. За рекой, смотрел Флори, бирманцы, подтянув сампан к берегу, с трудом укладывали в лодку длинный неудобный сверток. Мистер Макгрегор вытащил из стопки своих бумаг официальное письмо.

– Возможно, я должен подробнее разъяснить предысторию вопроса. Комиссар провинции известил меня об указании правительства пополнить клубы, не имеющие в составе лиц коренной национальности, по меньшей мере, одной таковой персоной, кооптировав ее, можно сказать, автоматически. В тексте указа... ах, вот... говорится: «Всякого рода оскорбительные отторжения достойно проявивших себя на официальной службе аборигенов следует считать политической ошибкой». Здесь, друзья, я посмею возразить. Упрек не к нам. Мы, кто честно трудится на местах, имеем взгляд несколько отличный от не имеющих реального опыта, столь образно названных поэтом «ораторов столичных, романтических». И в этом отношении комиссар совершенно солидарен со мной. Однако же...

– Чушь драная! – снова рванулся Эллис. – От комиссара эти указы-приказы или хоть кого, а наш ведь клуб? Наш? Значит, делаем как хотим. Нет у них права диктовать нам, с кем после службы выпить, отдохнуть!

– Вот! – кивнул Вестфилд.

– Друзья, вы забегаете вперед. На мое сообщение о необходимости поставить вопрос перед общим собранием, комиссар предложил следующее. В случае какой-либо, даже частичной поддержки вышеуказанного расширения нашего состава, было бы оптимально кооптировать нового вышеупомянутого члена в состав клуба. Но в случае, если все собрание выразит несогласие, вопрос может быть временно снят. То есть, в случае абсолютного единодушия по данному спорному пункту.

– Ладно, черт с ним, пускай единодушие, – ворчливо согласился Эллис.

– Стало быть, – уточнил Вестфилд, – от нас зависит, берем мы этих или нет?

– Полагаю, друзья мои, возможно именно так трактовать согласительную поправку комиссара.

– Ну, парни, дружно грянем наше «нет».

– И чтоб без размазни! Раз-навсегда прикончить тухлую идейку!

– Точно, точно! – прохрипел Лакерстин. – Долой черную дрянь, дух наш един, да! Чтоб без этого!

На соответствующее шумовое сопровождение Лакерстина можно было твердо положиться. Хотя в глубине души его не особенно волновали проблемы индо-британского союза и выпивать ему нравилось как с белыми, так и азиатами, но на любой призыв отдуть или четвертовать чем-либо провинившихся туземцев немедленное «точно, точно!» звучало всегда. Некая форма респектабельности хоть и слегка зашибающего, но верного, черт побери, сына Британии! Втайне и сам мистер Макгрегор не возражал подчиниться общей воле. Выборы аборигена несомненно предполагали бы персону доктора Верасвами, каковой с момента подозрительного побега Нга Шуэ О вызывал у главы округа глубокое недоверие.

– Итак, друзья, могу ли я занести в протокол «единогласно»? Ввиду соответственной резолюции, обсуждение возможных кандидатур излишне?

Флори молчал, понуждая себя открыть рот. Сердце трепыхалось в горле и мешало вздохнуть. Из того, что говорилось Макгрегором, ясно было – сейчас он одной фразой может обеспечить доктору этот чертов клуб. Ох, тоска, тоска смертная! Адский гвалт поднимут! И что вдруг дернуло обещать доктору? Но теперь что же, говори, раз обещал. Господи, а совсем недавно он бы все это выпалил так смело, так легко! Тогда, но не сейчас... Ну хватит, пора! Он повернулся в профиль, чистой щекой к собранию, и будто со стороны услышал свой еле шелестящий голос.

– Наш друг Флори имеет что-то добавить?

– Да. Я предлагаю выбрать доктора Верасвами.

Поднялся такой крик, что председателю клуба пришлось, постучав по столу, напомнить, что за стеной дамы. Эллису, правда, было наплевать. Бледный от бешенства, он подскочил к Флори, и они уже столкнулись в боевой стойке.

– Заткнешь ты пасть, сволочь проклятая?

– Не дожدهшься.

– Ах ты, свинья поганая! Подстилка негритосная! Мразь, слизь – ублюдок драный!

– Порядок, джентльмены!

– Нет, вы глядите, вы глядите! – выл, чуть ли не рыдал Эллис. –

Послал нас всех ради вонючки чернозадого! Уж толковали ему, толковали! И только мы плечом к плечу, только готовы навек отшить от клуба негритосов – нате-ка, эта тварь! У кого тут кишки не скрутит, глядя на этого ...! ...!

– Поддай назад, Флори, старик, – пробасил Вестфилд. – Не будь чертовым олухом!

– Прямо социалист, к дьяволу! – хрюкнул Лакерстин.

– Да говорите что хотите! Много толку? Макгрегору решать.

– Так вы не склонны прислушаться к, м-м, увещеваниям товарищей? – уныло проговорил мистер Макгрегор. – Ваше решение окончательно?

– Да.

– Жаль, – вздохнул председатель клуба. – Что ж, в таком случае, я полагаю, выбора у меня не остается.

– Стойте, стойте! – плясал рядом осатаневший Эллис. – Не поддавайтесь! Голосуем! И если этот сукин сын не кинет, как все тут, черный шар, мы его самого из клуба в шею турнем, вот это будет правильно! Эй, бармен!

– Сахиб? – явился на зов лакей.

– Тащи урну для бюллетеней и шары!

Бармен исполнил приказание и, получив от сахиба Эллиса благодарное «пшел вон!», исчез. Воздух замер стоячей духотой (опахало с некоторых пор повисло неподвижно). Мистер Макгрегор, поджав губы неодобрительно, однако юридически беспристрастно, встал и выдвинул из деревянного саркофага для голосования два ящичка, где хранились черные и белые шары.

– Напоминаю, господа, порядок процедуры. Мистер Флори представляет суперинтенданта доктора Верасвами, хирурга гражданской службы, как возможного члена этого клуба. Ошибочно, на мой взгляд, весьма ошибочно, но что ж! И перед тем как начать собственно голосование...

– Да чего тут по сто куплетов с припевами? – отмахнулся Эллис. – Вот он, мой голос! А вот за Максвелла! – Он бухнул два черных шара в прорезь урны и внезапно, в очередном припадке ярости, выхватил, опрокинул на пол ящик белых шаров. Гладкие кругляши со стуком раскатились по всем углам. – Ну, на-ка! Подбирай, кому охота!

– Кретин! Совсем спятил? Думаешь, очень здорово?

– Сахиб!

Крик заставил всех вздрогнуть и оглянуться. Над перилами балконной террасы торчало лицо испуганного чокры, одной рукой уцепившегося за

верхний брус, другой – звавшего посмотреть вниз.

– Сахиб! Сахиб!

– Что ему? – нахмурился Вестфилд.

Все бросились к парпету. Сампан, который Флори видел у дальнего берега, теперь причалил почти к самой лужайке, и кто-то крепил его веревкой за ствол прибрежного куста. Бирманец в изумрудном гонгбонге быстро шел к клубу.

– Это ж один из лесников Максвелла, – изменившимся голосом сказал Эллис. – Господи боже! Что еще стряслось?

Лесник, увидев мистера Макгрегора, торопливо поклонился и озабоченно повернул обратно, к лодке, из которой четверо крестьян с трудом вытаскивали странный большой сверток. Длинный, футов шесть, и замотанный тряпками, как мумия. Внутри у наблюдавших похолодело. Лесничий глянул на балконную террасу, понял, что войти можно лишь с другой стороны, и повел крестьян круговой дорожкой к крыльцу. Носильщики положили сверток на плечи, как могильщики гроб. Даже лицо мелькнувшего в коридоре бармена побелело, вернее стало серо-бежевым.

– Бармен! – резко позвал мистер Макгрегор.

– Сэр?

– Быстро закройте дверь комнаты для карт. Не отпирайте. Мэм-сахиб не должны увидеть.

– Да, сэр!

Бирманцы, несущие странный груз, тяжело топали по коридору. Переступив порог, первый грузчик поскользнулся и едва не упал – наступил на один из раскатившихся белых шаров. Опустившись на колени, бирманцы бережно положили ношу на пол и, сложив ладони, склонили головы. Вестфилд бросился к свертку и отвернул край тряпичного кокона.

– Эх, черт! – сказал он, как-то не слишком удивившись. – Эх ты, бляденок наш несчастный!

Лакерстин, глухо замычав, отступил в дальний угол. С той секунды, как сверток вынули из лодки, все знали что это. Тело Максвелла, почти разрубленное на куски дахами родичей того парня, которого он застрелил.

Гибель Максвелла потрясла Кьяктаду. Эхо этого потрясения прокатилось по всей Бирме, и случай – «жуткий случай в Кьяктаде, помните?» – обсуждался еще много лет после того, как имя самого зарубленного молодого инспектора лесов было забыто. Личным горем смерть Максвелла никого не опечалила. Что ж, еще один «славный парень» из бирманского легиона славных парней, с кучей приятелей, без единого друга. И тем не менее товарищи отнюдь не остались равнодушными, возмущившись, а первое время просто обезумев от гнева, – убит свой! Какой англичанин на Востоке при этом не содрогнется? Бирманцев хоть сотнями коси, но поднять руку на белого! Несчастный Максвелл тоже, без сомнения, жаждал бы мести. Слезы на его труп уронил лишь один человек, тот бирманец лесничий, который доставил тело.

Нашелся и тот, кого смерть Максвелла необычайно порадовала.

– Истинный дар небес! – разъяснял жене У По Кин. – Я сам не мог бы устроить лучше. Требовалась эффектная, с кровью, деталь для подтверждения страшного деревенского бунта. И вот, как по заказу! Скажу тебе, Кин-Кин, у меня, видно, есть отличный адвокат на небесах!

– Стыда у тебя нет, вот что! Как твой язык такое говорит? Убийство берешь на свою черную душу?

– Я? С какой стати? Я-то и цыпленка никогда не зарезал.

– Ты доволен смертью бедного мальчика.

– А что? А почему не быть довольным? Кто-то кого-то там убил и мне большая польза, так разве же я виноват? Рыбак живую рыбку из воды выловил – очень несправедно он поступил. Но где запрет есть рыбу? Нет такого. Так почему бы мне не съесть? Получше, милая моя, вникай в священные установления жизни!

Похороны состоялись следующим утром. Присутствовали все европейцы за исключением Веррэлла, занятого обычной тренировкой на траве плаца, почти напротив кладбища. Панихиду читал мистер Макгрегор. У могилы, сняв пробковые шлемы, стояла горстка англичан, в мокрых от пота темных, вытащенных со дна сундуков костюмах. Резкий утренний свет с особой беспощадностью высвечивал понурые фигуры в нелепой слежавшейся одежде и мятые у всех кроме Элизабет, весьма несвежие, немолодые лица. Отдать долг покойному пришли также, хотя скромно держались на заднем плане, полдюжины чиновных уроженцев Востока, в

том числе доктор Верасвами. Маленький погост хранил шестнадцать надгробных плит: агенты лесоторговых фирм, сотрудники администрации, солдаты, погибшие в каких-то давних перестрелках.

«Вечная память Джону Генри Спагнэллу, офицеру Имперской военной полиции, унесенному вспышкой холеры, до последнего часа верно и стойко...». Флори смутно помнил Спагнэлла, что-то забормотавшего на койке в лагере и вмиг испустившего дух. В углу погоста теснилось несколько могил евроазиатских полукровок, с вешками деревянных крестов, оплетенных гущей усыпанного мелким оранжевым цветом ползучего жасмина; у корней обильно чернели дыры крысиных нор.

Завершив панихиду возвышенно благоговейным прощанием, мистер Макгрегор достойно проследовал к выходу, у груди серый топи, заменяющий на Востоке черный цилиндр. Флори помешкал у ворот, надеясь на словечко Элизабет, но она прошла, не взглянув. Все его сторонились. Вчерашняя выходка отступника приобрела с убийством Максвелла значение настоящей подлой измены. Уходящие под руку, Эллис с Вестфилдом остановились закурить, голоса их прекрасно различались, усиленные резонансом не засыпанной еще могильной ямы.

– Ух, Вестфилд, не могу! Как я подумаю про пацана нашего, что в гробу тут, прямо аж захожусь! Спать не мог, понимаешь?

– Ясно, друг! Держись. Я тебе говорю, пару тварей за нашего парня мы уж подвесим. За каждого нашего получают по два их покойника.

– Два! И полсотни мало! Главное, сволочь эту с ножами найти, хоть со дна, хоть из-под земли! Имена есть уже?

– Без проблем. По всему округу рыла в пуху – на допрос, и вытрясти бы только.

– Дай-то бог! Постарайся, развяжи им языки поганые. Наплюй ты на уставы, врежь под дых, пытай этих гадов! Если какой свидетель нужен, я тебе против ихней сотни все что хочешь удостоверю.

Вестфилд, вздохнув, покачал головой:

– Не пройдет. У моей бригады средств дознания полный комплект: жопой на муравейник, перцу толченого кой-куда и все такое, но никак сейчас. Прижал нас закон хренов. Но ты, брат, не грусти, – закачаются птенчики на веревочке. Получим, оформим все показания.

– Удачи! Под арест, а если молчит зараза, пулю в лоб и молчи дальше! Только из кутузки не выпускать, мать их!

– Тут будь спокоен. Кого-нибудь точно прихватим. Уж лучше вздернуть не того, чем никого, – заключил Вестфилд, не подозревая о своей цитатной мудрости^[28].

– Вот это дело! Спать не смогу, пока на виселице их не увижу, – приговаривал Эллис, покидая с приятелем кладбище. – Черт! В тень скорей, глотка напрочь пересохла.

Жажда томила и остальных, но не идти же в клуб выпивать сразу после похорон, и европейцы разошлись по домам. Четверо смуглых оборванцев с лопатами принялись закидывать яму сухими комьями и уминать над нею пыльный кривой холмик.

После завтрака Эллис, помахивая тростью, шел в свой офис. Жара пылала. Дома Эллис помылся и переоделся, но час в плотном черном костюме все-таки обернулся треплющим лихорадочным ознобом. Вестфилд уже отправился со своей командой ловить убийц, причем и Веррэллу велел сопровождать (не ради совершенно излишней помощи, а исключительно из принципа «пусть паразит попотеет!»).

Эллис тряхнул плечами, почти, впрочем, не замечая поднявшейся температуры. Знобило от пенившейся внутри злости. Всю ночь его душил гнев – белого убили гады, пидоры чернозадые! Посмели, твари, убить белого! Чем их за это казнить, пронять до самых потрохов? Ну почему закон у нас слюнявый? Что мы под эту мразь ложимся? Представить, что такое случилось бы перед войной где-то в колониях у немцев! Правильный народ немчура, знали, как с негритосами! Кнутом их драть из носорожьей кожи! Деревню спалить, скот зарезать, поля выжечь и каждого десятого под расстрел!

Он пристально глядел в слепящие снопы света между деревьев, зеленоватые, широко раскрытые глаза мрачно блестели. Смирный пожилой бирманец, тащивший большой ствол бамбука, переложил его с плеча на плечо, уступая дорогу. Кулак Эллиса крепче сжал трость. Вот бы толкнул пес шелудивый, хоть ругнулся, хоть чем-то задел бы – дал бы повод прибить его! Нет, будут только ползать, извиваться, гадюки скользкие! Эх, если бы вот настоящий мятеж – чрезвычайное положение и без пощады! Дивные кровавые картины понеслись в голове – дым, стрельба, визг туземцев, горы их трупов, копыта на темных голых животах, кишки наружу, вдрызг расквашенные смуглые морды!

Навстречу показались пятеро шедших в ряд школьников. Шеренга юных желтых гладких физиономий, ехидных, с дерзкой усмешкой. Дразнят, поганцы, белого человека. Тоже небось слышали про убийство, для них победа, радость им всем. Вон как, проходя мимо, ухмыльнулись. В открытую! Знают, что не достанешь. Эллису стало трудно дышать. Желтые лица плясали перед глазами глумящимися бесами. Он резко остановился.

– Чего мне зубы скалите, сопливцы?

Мальчишки обернулись.

– Чего, говорю, хари драные, веселитесь?

Один из подростков нахально – может, из-за плохого английского нахальнее чем хотел бы, – ответил:

– Не ваше дело.

На секунду сознание Эллиса затмило, и в эту самую секунду ярость прорвалась ударом палки, треснувшей со всей силы прямо поперек наглых глаз. Мальчишка взвыл, четверо остальных кинулись на Эллиса. Но куда им! Он отшвыривал и лупил их тростью так неистово, что им было даже не приблизиться.

– Не суйся, гнида! Прочь! Всех, на расшибу!

Даже для четверых подростков этот бешеный был ужасен. Раненый парнишка, закрывая лицо ладонями, рухнул на колени с криком: «Ослеп! Ослеп!». Остальные вдруг бросились к насыпанным возле дороги грудам ремонтной щебенки. На веранду офиса Эллиса выскочил его клерк, вопя:

– Скорее в дом, скорее, сэр! Они убьют вас!

Бежать от юных паршивцев Эллис и не думал, но поднялся на крыльцо. Град камней полетел, стуча о столбы и перила. Клерк мигом скрылся. Глядя сверху вниз в лица мальчишек с охапками щебенки, Эллис радостно загоготал:

– Что, черномазые ублюдки, а? Не ожидали? Давай-ка, подымайся, давай-ка четверо на одного! Кишка тонка? И на людей-то не похожи! Гаденыши, крысята вшивые!

Он поносил, всласть оскорблял вонючих бирманских свиней, а ребята, с их слабыми полудетскими руками, бросали и бросали камни, никак не попадая в цель. И каждый пролетевший мимо камень Эллис приветствовал новым хохотом. Послышались свистки, топот бегущих от полицейского поста встревоженных констеблей. Мальчишки оглянулись на дорогу и дунули прочь, оставив Эллиса абсолютным победителем.

Хотя драка повеселила душу, с окончанием боя Эллис вновь мрачно распалился. Немедленно написал Макгрегору записку, сообщая о подлом нападении и требуя возмездия. В офис Окружного управления были также посланы двое клерков, клятвенно и дружно подтвердивших, что на господина внезапно, без всякой видимой причины напали пятеро подростков, что ему пришлось защищаться и т. п. (может, и сам Эллис, в страстной жажде отмщения поверил в этот боевик). Мистер Макгрегор, несколько обеспокоившись, приказал разыскать и опросить школьников; однако, несмотря на усилия весь день рыскавшей полиции, мальчишек не нашли. Раненого парнишку отвели к знахарю, который примочками

целебной ядовитой настойки успешно довел повреждение глаз до полной потери зрения.

Вечером, как обычно, европейцы кроме еще не вернувшихся из джунглей Вестфилда и Веррэлла собрались в клубе. Настроение было плохое. Мало коварного злодейского убийства, так уже бандитские нападения средь бела дня! Миссис Лакерстин, закатывая глаза, пророчила «нас непременно зарежут в наших постелях!». Дабы ее успокоить, мистер Макгрегор сообщил, что предусмотрено на случай бунта запираить женщин в надежной тюремной крепости, но это, кажется, не слишком ободрило нервную леди. Флори вдоволь досталось от цеплявшегося Эллиса и не перепало ни единого взгляда Элизабет. В клуб он приплелся, тая сумасшедшую надежду на примирение с ней, и совершенно раздавленный ее брезгливым холодом почти все время просидел в читальне. Часам к восьми, после неоднократных рюмочек и стаканчиков, когда атмосфера чуть-чуть смягчилась, Эллис предложил:

– А что если отправить пару чокр, чтоб сбегали на наши кухни и сюда нам обед приволокли? Все лучше, чем отдельно по домам маяться.

Боявшаяся теперь даже выйти на улицу, миссис Лакерстин с радостью поддержала идею, тем более что иногда, по праздникам такие общие ужины в клубе случались и бывало очень весело. Некая заминка вышла с чокрами, которые, услышав приказание, в слезах взмолились не гнать их на холм, где у дороги наверняка караулит призрак мистера Максвелла. За кушаньями был послан мали. Глядя в окно, как он идет к воротам, Флори увидел полную луну – стало быть, ровно четыре недели с того незапамятного вечера, когда он поцеловал ее под одуряюще пахшим жасмином.

В ожидании ужина сели за бридж, и только мадам Лакерстин, извинившись («нервы!»), взяла назад открытую было карту, по крыше что-то стукнуло.

– Спелый кокос, – откомментировал мистер Макгрегор.

– Да не растет тут никаких кокосов! – буркнул Эллис.

Дальше все разом: громыхнул новый, еще более сильный удар по крыше, керосиновая лампа, упав с крюка, разбилась вдребезги у самых ног заоравшего, отскочившего Лакерстина, истерически завопила его супруга, вбежал землистого цвета и без пагри старик бармен:

– Сэр, сэр! Злые люди сюда! Убивать нас, сэр!

– Что? Что еще за злые люди?

– Деревенские со всей округи, сэр! В руках большие палки и дахи, они пляшут сейчас вокруг. Горло хотят господам резать, сэр!

Безжизненно откинувшись на стуле, миссис Лакерстин непрерывно оглушительно визжала. «А ну, не орать! – гаркнул ей в лицо Эллис. – Слушайте! – повернулся он к остальным. – Слышите?».

Снаружи шел глухой и мощный угрожающий гул. Мистер Макгрегор, напряженно распрямившись, поправил съехавшие на переносице очки.

– Некоторое волнение в массах! Бармен, подберите осколки. Мисс Лакерстин, будьте любезны, позаботьтесь о вашей тетушке – ей, видимо, нехорошо. Господа, прошу вас, за мной!

Джентльмены подошли к входной двери, которую кто-то, видимо бармен, успел уже запереть изнутри. Как раз в этот момент салютом прогремел залп грохнувшей о дощатую дверь гальки. Мистер Лакерстин, вздрогнув, отпрянул.

– Засов-то чертов хоть задвиньте кто-нибудь! – визгнул он.

– Нет-нет! – возразил мистер Макгрегор. – Мы должны выйти. Не появиться перед ними было бы роковой ошибкой.

Он открыл дверь и смело ступил на крыльцо. На аллейке стояло человек двадцать бирманцев с кольями и дахами, а за оградой, заполняя и дорогу, и плац, и до самых джунглей огромная толпа. Море людей, тысячи две, не меньше, черневшее, облитое сиянием белой луны, с яркими искрами на кривых лезвиях дахов. Эллис бестрепетно встал рядом с Макгрегором. Лакерстин исчез.

Мистер Макгрегор поднял руку, требуя внимания. «Что все это значит?» – сурово крикнул он.

В ответ поднялся рев и полетели камни, в том числе довольно увесистые, но, по счастью, никого не задевшие. Один из стоявших на аллейке повернулся и, махнув палкой, прикрикнул, чтобы с камнями подождали. Затем этот парень, силач лет тридцати, с рогульками висящих усов, в рубаше и коротком лонги, сделал шаг к европейцам.

– Что это значит? – повторил мистер Макгрегор.

Парень заговорил бойко и не особенно сердито:

– Мы с вами ссориться не хотим, мин-ги! Нам нужен лесной торговец Эллис (произносилось «Эллит»)! Тот мальчик, которого он утром ударил, слепой теперь. Дайте нам сюда Эллита, мы хотим наказать его. А другим вашим зла не будет.

– Рожу запомни, – через плечо бросил Эллис Флори. – Сядет малый годков на семь.

Мистер Макгрегор побагровел. Гнев несколько мгновений не давал ему открыть рот, и закричал он наконец так, будто находился в Англии:

– Кто вам дал право на подобный тон? Что вы себе позволяете? Я за

всю жизнь не слышал подобной дерзости! Сию же минуту разойтись или я вызову полицию!

– Лучше не мешкайте, мин-ги! Мы знаем, что ваши суды не для нас, так уж мы сами накажем Эллита. Давайте его побыстрей. А то все ваши будут очень много плакать.

Мистер Макгрегор яростно махнул в воздухе кулаком. «Вон, сукин сын!» – заорал он, впервые за много лет употребив бранное слово.

Толпа грозно взревела и обрушился такой град камней, что досталось всем, не исключая стоявших у клуба бирманских вожаков. Один камень ударил представителя комиссара прямо в лицо, едва не опрокинув навзничь. Европейцы быстро вбежали в клуб и заперлись. Очки мистера Макгрегора были разбиты, из носа хлестала кровь. В салоне мужчины увидели бьющуюся истеричной ящерицей миссис Лакерстин, качающегося у стола в обнимку с пустой бутылкой Лакерстина, бормочущего в углу на коленях бармена (крещеного католика) и воющих от ужаса чокр. Только Элизабет, побелевшая как мел, сидела молча и неподвижно.

– Что там? – воскликнула она навстречу.

– «Что-что», в дерьме мы, – огрызнулся Эллис, дернув шеей, по которой ему здорово садануло. – Бирманцы кругом, камнями лупят. Ладно, не дрейфь, ребята! Кишка у них тонка дверь выломать.

– Немедленно вызвать военную полицию! – невнятно прогнусавил мистер Макгрегор, зажимавший ноздри красным от крови носовым платком.

– Как вызовешь? – сердито хмыкнул Эллис. – Пока вы с ними разговор вели, я посмотрел – отрезали нас чертовы скоты, язви их душу! Не продрасться ни до постов, ни до тюрьмы. У Верасвами-то полно охранников с винтовками.

– Что ж, остается ждать. Надо надеяться, они сами стихнут и разойдутся. Успокойтесь, дорогая моя миссис Лакерстин, прошу вас, успокойтесь. Опасность, уверяю вас, очень невелика.

На слух, однако, чувствовалось по-другому. Грозный шум не только не стихал, но явственно нарастал, словно толпа все прибывала новыми сотнями бирманцев. За стенами ревело так, что в клубе нельзя было расслышать друг друга. Все окна салона закрыли, заперли, плотно задвинув рамами цинковых сеток, которыми иногда защищались от москитов. Тем не менее, то и дело звенели разбитые стекла, дрожавшие тонкие стены, казалось, вот-вот расколются под непрерывной каменной бомбежкой. Приоткрыв ставень, Эллис швырнул в толпу бутылку, но дюжина тут же влетевших камней заставила поспешно захлопнуть щель. Других

намерений кроме крика, стука и обстрела камнями у бирманцев пока не наблюдалось, но дикий шум невыносимо действовал на нервы и поначалу просто ошеломил. Никому, кстати, не пришло в голову упрекнуть Эллиса, единственного виновника всего этого; угроза лишь звала сплотиться как можно теснее. Полуслепой без очков мистер Макгрегор стоял посреди комнаты, протянув руку благодарно вцепившейся в нее миссис Лакерстин и позволяя плачущему чокре обнимать свою ногу. Мистер Лакерстин снова исчез. Эллис метался взад-вперед, тряс кулаком в сторону полицейских казарм:

– Где эти е... полицейские, мать их! – вопил он, не стесняясь дам. – Сто лет такого случая не будет! Сейчас бы десяток винтовок, сколько б мы этой б... сволочи ухлопали!

– Помощь идет! – выкрикивал в ответ мистер Макгрегор. – Но нужно время пробраться сквозь толпу!

– Так чего ж они, сучьи дети, не стреляют? Уже бы кучи негритосов в крови валялись! Черт их, такой случай, такой шанс!

Увесистый кусок гранита пробил цинковую сетку. Влетевший следом в дыру камень ударился о стенной образчик «китаёзы», рикошетом ободрал локоть Элизабет и приземлился на столе. Снаружи триумфально взревело, и на крышу обрушились кошмарные удары – забравшиеся на деревья бирманские детишки с риском для жизни срывались вниз, задами плюхаясь на гремющую кровлю. Мадам Лакерстин превзошла саму себя, издав визг, перекрывший весь наружный шум.

– Заткнись ты, швабра драная! – прикрикнул Эллис. – Свинью режут, и то тише орет. Флори, Макгрегор, давай сюда! Гонца слать надо, срочно думайте, как выбираться!

Элизабет, внезапно сорвавшись, зарыдала; удар камнем сломил ее выдержку. К изумлению Флори, она схватилась за его рукав, и даже в этот момент ее прикосновение перевернуло все в груди. Вообще, происходящее сейчас Флори воспринимал со странным чувством отчужденности и без особых страхов – бирманцы никогда не виделись ему действительно опасными. Лишь дрожащая на его руке рука Элизабет заставила оценить серьезность ситуации.

– О, мистер Флори, миленький, пожалуйста! Придумайте что-нибудь, вы же умный, умный! Что-нибудь, скорей, пока эти жуткие люди не ворвались сюда!

– Если б один из нас сумел добраться до полицейских казарм! – стenal мистер Макгрегор. – Местные солдаты не вправе, нужен британский офицер, который даст приказ! Что ж, долг мой самому попробовать пройти.

– Да не дурите! – рявкнул Эллис. – Глотку вам полоснут и все дела. Пошел бы я, если б знал, как прорваться. Ух, дьявол, дать тут этим свиньям себя передушить! Когда с винтовками мы бы их всех в клочья!

– А если как-то вдоль берега? – отчаянно прокричал Флори.

– Безнадега! Они везде кишат. Отрезаны мы – с трех сторон толпа, сзади река!

«Река!» Выход блеснул во всей своей простейшей, оттого и не приходившей в голову, гениальности.

– Река! Конечно! – заорал Флори. – Нам до казарм добраться, как чихнуть! Ну?

– Как это?

– Река же под окном! Прыгнуть и вплавь!

– Отлично, парень! – Эллис шлепнул Флори по плечу. Элизабет, держа его за руку, чуть не прыгала от радости. «А может, я?» – рванулся Эллис, но Флори покачал головой, он уже сбрасывал ботинки. Нельзя было терять ни минуты, бирманцы кое-что прохлопали, но могли вдруг и спохватиться. Одолев свой первый ужас, бармен приготовился открывать заднее окно и осторожно поглядывал вниз. На лужайке были только следы босых ног; понадеявшись на речную преграду, бирманцы отсюда ушли.

– Чертом жми по траве! – орал Эллис в ухо Флори. – Они ошалеют, когда тебя увидят!

– Приказывайте сразу открыть огонь! – в другое ухо кричал мистер Макгрегор. – Я даю вам все полномочия!

– И вели стрелять по-серьезному! Без всяких там «поверх голов»! В харю или хоть в брюхо!

Флори спрыгнул, почувствовав удар твердого грунта, и пулей рванул к берегу. Как и предсказывал Эллис, бирманцы на секунду оторопели, затем вслед свистнуло несколько камней, но никто не погнался. Осаждающие явно приняли это просто за бегство и в лунном свете успели разглядеть, что сбежал не Эллис. Еще мгновение сквозь кусты – и Флори нырнул.

Нырнул он слишком глубоко, увязнув по колени в плотном илистом тесте, но наконец выдрался. Над волной в жадно раскрытые губы хлынула речная пена с какой-то гущей, когда же Флори удалось отхаркнуть забивший горло ошметок водорослей, оказалось, что его уже отнесло течением ярдов на двадцать. По берегу довольно бестолково носились кричащие бирманцы; осадившую клуб толпу из воды было не увидеть, зато дьявольский рев звучал здесь еще громче. Однако, доплыв до места почти напротив солдатских казарм, Флори не увидел у реки никого и, поборовшись со стремительным потоком, пошел, вернее, стал

проталкиваться сквозь доходившую до груди топкую прибрежную грязь. Неподалеку от берега тихо, мирно сидели и стругали колья для забора два старика. Цепляясь за ограду, Флори доплелся до плаца, а затем побежал через лунное поле, еле передвигая ноги в мокрых сползающих штанах. Лагерь встретил мертвой тишиной – казармы были совершенно пусты; только на конюшне в нескольких стойлах нервно били копытами пони Веррэлла. Бросившись к дороге, Флори вскоре увидел, что происходит.

Весь наличный состав – сотни полторы вооруженных лишь дубинками военных и гражданских полисменов – бросился атаковать толпу с тыла. Но втиснувшихся полицейских зажало, беспомощно кружило водоворотом густой людской массы. Облепленные роем тел, они не могли пустить в ход свои дубинки, сражаясь яростно и бесплодно, оплетая ближайшие фигуры лентами размотавшихся пагри, как в известной скульптурной сцене борьбы античного Лаокоона со змеями. Ругань на четырех языках, смрадная смесь пота с резким запахом умащавшей кожу индусов календулы, клубы пыли и практически никакого серьезного ущерба для противников. Бирманцы, видимо, не хватались за дахи из опасения ружейного огня. Флори ринулся в тут же поглотившую его, обдавшую жаром, сдавившую ребра толпу, продираясь с ощущением дикого абсурда и нереальности. Странный нелепый бунт, где самым странным было не слишком агрессивное отношение восставших к врагу: кто-то бранил Флори, кто-то толкал его, а кто-то даже старался привычно уступить дорогу белому. Довольно долго его просто швыряло из стороны в сторону, потом он вдруг почувствовал резкую боль – на ногу кованым башмаком наступил толстый усатый субадар. Потерявший в давке тюрбан, бритоголовый старшина сипаев одной рукой ухватил и душил соседнего бирманца. Изловчившись оторвать кровожадного раджпута^[29] от его жертвы, Флори, не на забытом от волнения урду, а по-бирмански прокричал ему в ухо:

– Почему не стреляли?

Ответ тонул в реве, не сразу удалось разобрать:

– Хакм ни аяа (приказа не было!).

– Болван!

В этот момент их стиснула, поволокла очередная волна толпы. Флори вспомнил про наверняка имевшийся в кармане сипая свисток и кое-как смог все-таки вытащить его. Однако призывные свистки зазвучали впустую, собраться сквозь такое месиво было невозможно. Время от времени не оставалось ничего другого, как просто расслабить мускулы, позволяя водовороту нести себя вперед, а иногда даже оттаскивать назад. Наконец, более напором толпы, чем собственным усилием, Флори

выкинуло на открытое место, где вскоре появились также субадар, десятка полтора его сипаев и старший констебль бирманец. Измученные бойцы полицейского воинства были здорово помяты, ноги им совершенно оттоптали.

– Бегом, бегом! Быстро в казармы за винтовками!

Хотя он все еще говорил по-бирмански, сипаи поняли его и, хромая, побежали к своим баракам. «Эй, – окликнул Флори полисмена бирманца, – на хинди можешь говорить?»

– Да, сэр.

– Скажи им стрелять только поверх толпы и только общим залпом. Это они должны точно понять!

– Слушаюсь.

Объяснения знавшего хинди хуже Флори старшего констебля свелись, в основном к прыжкам и жестам. Шеренга сипаев вскинула ружья, грянул залп. На миг Флори показалось, что приказ его не выполнен, ибо ближайшие ряды бирманцев упали как подкошенные, но люди просто от страха бросились на землю. И когда сипаи пальнули вторично, в этом уже не было необходимости – толпа, отхлынув, быстро потекла вспять. Кое-где по краям драки с армейской и местной полицией еще шли, но вот уже масса бунтовщиков устремилась через плац к лесу, и, продвигаясь по следам отступления, вскоре Флори с сипаями почти достигли клуба. Поодиночке, волоча шлейфы размотавшихся пагри, но с увечьями не серьезней синяков, подтягивались остальные солдаты. Констебли вели нескольких арестованных. Последняя часть бирманцев уходила с клубной территории, перепрыгивая поваленный забор вереницей газелей. Из едва различимого в ночи скопища убегающих мятежников вырвалась и подкатилась прямо в объятия Флори маленькая белевшая фигурка. Галстук с доктора Верасвами был сдернут, но очки на носу чудом уцелели.

– Доктор!

– Ахх, друг мой! Я совершенно обессилел!

– Откуда вы здесь? Вы что, были в толпе?

– Пытался остановить их, друг мой, но безнадежно, пока вы не появились. Хотя один, по крайней мере, печать вот этого унес!

Доктор показал боевую ссадину на своем пухлом кулачке; впрочем, ночная тень мешала по достоинству оценить его отвагу. Сзади гнусаво закаркало:

– Приветствую, мистер Флори, вот и вы подошли! Опять небольшая заварушка! Двоих нас с вами даже многовато для усмирения этих блох, кха-ха-ха!

Веселился У По Кин, который прибыл с огромной дубиной и револьвером за поясом, в демонстративном неглиже – лишь фуфайка и сатиновые штаны тотчас выскочившего из дома беззаветного храбреца (прятавшегося до самого конца, зато первым успевшего к раздаче триумфальных лавров).

– Неплохо сделано, сэр! – удовлетворенно хохотнул он. – Смотрите, как удирают. Славно, славно мы их распугали!

– Мы! – задыхаясь от возмущения, воскликнул доктор.

– Как, дорогой доктор? Неужели и вы были поблизости? Вы тоже вдруг отважились рискнуть вашей бесценной жизнью? Кто бы мог подумать?

– Сами-то вы не торопились! – сердито оборвал его Флори.

– О, сэр, негодяи бросились наутек, – слегка понизив наглый тон продолжал У По Кин, – но меня беспокоит, как бы они по дороге не полезли грабить имущество европейцев!

Невозмутимое нахальство судьи просто восхищало. С дубиной подмышкой, он важно, чуть ли не покровительственно шествовал возле Флори, тогда как доктор в смущении следовал за ними. У ворот клуба все трое остановились. Внезапно стало совсем темно, луну скрыла сплошная пелена тяжелых черных туч. Пронесся порыв почти забытого свежего ветра, и остро дохнуло влагой. Ветер усилился, деревья зашумели, с куста жасмина возле теннисного корта посыпался вихрь лепестков. Судья и доктор устремились под крыши своих домов, а Флори под кров клуба. Хлынул дождь.

На следующий день город был тих, как кафедральный собор утром в понедельник. Тишайший покой после бунта. Кроме горстки арестованных на месте преступления, у всех возможных участников осады оказалось незыблемое алиби. Клубный сад, будто истоптанный стадом бизонов, имел плачевный вид, но ни самим белым сахибам, ни их жилищам не было причинено никакого вреда, за исключением шишки на лбу найденного под бильярдным столом, в стельку пьяного мистера Лакерстина. Вестфилд и Веррэлл успешно вернулись с розысков, доставив двоих убийц Максвелла (или, во всяком случае, пару крестьян, вполне годных для виселицы). Правда, городские новости чрезвычайно опечалили Вестфилда, снова упустившего шанс пострелять в бунтовщиков, – эх, невезуха! Отклик Веррэлла на ночные события выразился лишь брезгливой гримасой в сторону Флори, штатского, который посмел приказывать сипаям.

Дождь лил и лил. Проснувшись под стук капель, Флори в сопровождении верной Фло выбежал во двор и подставил тело струям воды. С удивлением он обнаружил на коже множество синяков, зато дождевой душ мигом смыл всякий след лихорадки. Ливни тут выступают просто замечательным целителем. Затем Флори, в хлюпающих ботинках, то и дело стряхивая стекающие с панамы потоки, отправился к доктору. Небо было свинцовым, шквалистые порывы волнами неслись по плацу, как вихри конницы. Несмотря на широкие лубяные шляпы, прохожие бирманцы напоминали бронзовые статуи фонтанов. Дорогу уже залило оголявшими камни ручьями. Доктор сам только вошел с улицы на веранду и тряс над перилами мокрый зонтик.

– Заходите, мистер Флори, заходите! Ахх, вы как раз вовремя! Я только собирался откупорить джин «Старый Томми», поднять бокал за вас, спасителя Кьяктады!

Потом был долгий разговор. Доктор торжествовал; ему казалось, что бурная ночь каким-то чудом восстановила справедливость, поправ интриги подлого судьи, что теперь все пойдет иначе.

– Друг мой! Ведь этот бунт, где проявилось ваше высочайшее благородство, У По Кин не планировал. Состряпав свое геройство умирением своего же якобы мятежа, негодяй полагал, что впредь от любых вспышек он еще более возвысится. Мне сообщили, что при вести о гибели мистера Максвелла, радость его была буквально... – доктор

попытался поймать слово шепоткой пальцев, – как это говорится?

– Непристойной?

– Да-да, непристойной! Он чуть ли не пустился в пляс, вообразите только жуткое зрелище? Приговаривал «вот сейчас и деревенский мятеж примут всерьез». Что негодяю человеческая жизнь? Но настал конец его триумфам! Прерван взлет этой подлой карьеры!

– Отчего бы?

– Как же, как же, мой друг! Не он, а вы теперь истинный, подлинный герой! И даже меня подле вас оберегает некий отблеск вашей славы. Не вы ли всех спасли? Разве не встретили вас вчера европейские друзья как настоящего освободителя?

– Пожалуй, не без того. Довольно новые для меня ощущения. Миссис Лакерстин величала меня исключительно «дорогим мистером Флори», обратя свое жало против Эллиса, имевшего неосторожность в сердцах назвать нервную леди драной шваброй.

– Ахх, мистер Эллис порой действительно не сдержан в выражениях.

– Меня он почти не шпынял, только очень корил за то, что я не дал приказ стрелять в живое мясо («чего ж не пристрелил пяток ублюдков?») и мои ссылки на опасность для находившихся в толпе полицейских отверг: «Ну и парочке этих негритосов попало бы? Большое дело!». Однако прежние мои грехи полностью прощены. Макгрегор даже цитировал что-то возвышенное на латыни, видимо из Горация.

Через полчаса Флори шагал в клуб, чтоб окончательно, как накануне обещал ему Макгрегор, уладить вопрос с избранием доктора. Все трудности сейчас исчезли. Пока помнится нелепый вчерашний бунт, ему позволят что угодно, войди он и заката хвалу Ленину – проглотят и это. Роскошный дождь лился по телу сквозь до нитки промокшую одежду. Упоительным, позабытым за месяцы жестокой засухи, ароматом благоухала земля. В истоптанном саду мали, подставив согнутую спину барабанящему дождю, делал новые лунки для цинний; большинство цветов было загублено. Элизабет стояла на боковой веранде, словно поджидая. Он снял панаму, пролив с нее целый водопад, и поднялся к девушке.

– Доброе утро, – сказал он, слегка напрягая голос в шуме ливня.

– Доброе утро! Так и не утихает, просто потоп!

– Что вы, вот подождите до июля, тогда с небес обрушатся воды всего Бенгальского залива

Конечно же, раз они встретились, пошла беседа о погоде. Однако лицо ее говорило нечто помимо тривиальных фраз. Со вчерашнего вечера она вообще совершенно изменилась к нему. Флори набрался смелости:

– Куда вчера угодил камень, еще болит?

Она протянула и позволила взять свою руку. Вид у нее был ласковый, даже нежный. Шансы его внезапно очень возросли; преувеличенный вчерашний подвиг, понял он, может сейчас, заслонив даже историю с Ма Хла Мэй, вновь представить его укротителем буйволов, победителем леопардов. Сердце застучало, он прижал к нему ее пальцы.

– Элизабет...

– Нас увидят! – быстро, но нисколько не сердито отняла она свою ладонь.

– Элизабет послушайте. Вы получили то мое письмо, тогда, из джунглей?

– Да.

– Вы ведь помните, что я писал?

– Да, и мне жаль, что я вам не ответила, только...

– В те дни вы не могли, это естественно. Но я хочу напомнить, что там говорилось.

Говорилось там, разумеется о том, как он ее любит и независимо ни от чего будет любить до гробовой доски, вечно храня в груди образ... и т. п. Они стояли близко, лицом к лицу, и он вдруг, как во сне (миг этот и запечатлелся обрывком волшебных сновидений), обнял, поцеловал ее. Она прильнула на секунду, но тут же, откинувшись, помотала головой – то ли боялась чужих взоров, то ли уклонялась от мокрых усов. И быстро, не сказав ни слова, убежала. Что-то грустное мелькнуло напоследок в ее глазах, однако она явно не гневалась.

Он тоже пошел в клуб, столкнувшись у дверей с чрезвычайно благодушно настроенным мистером Макгрегором, который улыбочиво приветствовал «явление в Рим героя славного!», после чего, уже серьезно, вновь повторил благодарные поздравления. Пользуясь случаем, Флори весьма живо поведал о благородной роли доктора: «Отважно ринувшись в толпу бунтовщиков, бился как тигр...». И это было недалеко от правды, доктор на самом деле рисковал жизнью. Представитель комиссара и все прочие слушали с увлечением. Ручательство одного белого стоит тысяч восточных свидетельств, тем более что нынче мнение Флори имело особый вес. Фактически доброе имя доктора было восстановлено, и прием его в клуб можно было считать решенным.

Формально, однако, дело все-таки до конца не завершилось, поскольку тем же вечером Флори уехал в джунгли. Округ теперь надолго был гарантирован от каких-либо мятежных волнений: во-первых, по причине дождей, призвавших крестьян на пашни, а во-вторых, из-за раскисших, не

позволявших собираться толпами дорог. В Кьяктаду Флори полагал вернуться дней через десять, как раз к очередному приезду его преподобия. Честно говоря, не хотелось видеть возле Элизабет Веррэлла. Вся горечь унижительно терзавшей ревности после полученного от девушки прощения, как ни странно, испарилась. Веррэлл мешал лишь своим временным присутствием. Даже картины, рисующие ее в объятиях лейтенанта, перестали мучить, ибо недолго уже им осталось воплощаться. Ясно стало, что никакого предложения со стороны благородного офицера не последует; такие кавалеры не женятся на бедных барышнях из глуши на индийских окраинах Империи. Он скоро бросит ее, и она вернется – вернется к Флори. И это виделось прекрасной, счастливейшей развязкой. Смирение подлинной любви способно простираться до жутковатой беспредельности.

У По Кина захлестывала ярость. Дурацкая самостийная осада не выбила его из колеи, но подбросила горсть песочка в буксы отлично смазанных колес.хлопоты по очернению доктора приходилось начинать заново. Младшему писарю Хла Пи понадобился острый бронхит, чтобы неделю, не отвлекаясь на службу, кропать дружеские сообщения, уличая доктора во всем, от гомосексуальных преследований до кражи почтовых марок! Полное законное оправдание содействовавшего бегству Нга Шуэ О тюремного стража вытащило из кошелька судьи целых двести рупий на свидетелей! Анонимки подробно доказывали Макгрегору, как вероломно действовал Верасвами в толпе заговорщиков! Результаты не утешали. Вскрытая депеша Макгрегора комиссару, где доктор характеризовался персоной «весьма благонадежной», вынудила собрать экстренный военный совет.

– Время решительно ударить по врагу! – заявил У По Кин на утреннем совещании тайного штаба. Присутствовали сидевшие в углу веранды судейского дома Ма Кин, Ба Сейн и подающий большие надежды юный бойкий Хла Пи.

– Перед нами стена, – продолжил вождь, – и стена эта именуется «Флори»! Кто мог ожидать, что жалкий трус не бросит индийского дружка? Увы! И пока Верасвами под такой защитой, мы бессильны.

– Я говорил с барменом клуба, сэр, – доложил Ба Сейн. – Сахибы Эллис и Вестфилд по-прежнему против избрания доктора. Может, они опять, когда геройство Флори чуть подзабудется, станут ругаться с ним?

– Станут! Ругаться-то они, конечно, станут, но тем временем дело будет делаться. Глядишь, и впрямь протащат докторишку! Останется лишь умереть от бешенства. Нет! Дружно навалиться и прихлопнуть самого Флори!

– Самого, сэр? Он же белый!

– И что? Случалось мне и белых повалить. Разок хорошенько опозорить сахиба, и приятелю индусу тоже конец. Я должен растоптать Флори, я буду его топтать и растопчу так, что он вообще в свой клуб больше не сунется!

– Сэр! Он белый! А мы? Кто ж поверит нашим обвинением?

– Стратегической мысли у вас маловато, уважаемый Ба Сейн. Не обвинять белого, а поймать *in flagrante delicto* – на месте преступления. Публичным позором пригвоздить! Только решить бы, как тут взяться. Теперь тихо, я буду думать.

Повисла пауза. У По Кин застыл, пристально глядя в завесу дождя, руки за спиной, ладони на выступе мощных громадных ягодиц. Трое советников, затаив дыхание, не сводили с него глаз, несколько обескураженные дерзкой идеей, в ожидании некоего сногсшибательного хода. Сцена напоминала известное полотно, кажется Мейсонье, где Наполеон задумчиво изучает карту Москвы, а маршалы благоговейно взирают на императора. Но У По Кин, конечно, оценивал ситуацию прозорливее вождя французов. За две минуты план созрел, и лицо обернувшегося судьи просияло. Пускаться в пляс, как говорил доктор, он не собирался, фигура его для танцев не годилась, однако повод поплясать возник. Подозвав Ба Сейна, судья кое-что нашептал ему.

– Ну как? – вслух подытожил он.

Широкая неумелая ухмылка скривила деревянные черты помощника.

– И всех расходов лишь полсотни рупий! – ликующе добавил У По Кин.

План, детально развернутый перед аудиторией, получил горячее одобрение. В перекатах радостного смеха зазвенел даже тоненький голосок годами удручавшейся злой душой мужа праведной Ма Кин. План действительно был хорош. Точнее – гениален.

А с неба лило и лило. Вторые сутки Флори жил в лагере, вторые сутки шумел дождь, то слегка успокаиваясь, сеясь английской моросью, то исторгаясь из немыслимо изобильных облаков бешеными потоками. Проглядывая в просветы туч, солнце яростно парило землю, и от жарких болотных испарений тут же начинало лихорадить. Набухшие коконы прорвались ордами насекомых, неисчислимо развелось меленькой мерзости, так называемых «гнусяшек», заполонивших дома, кишевших на обеденных столах и превращавших еду в пакость. Элизабет все еще выезжала вечерами с лейтенантом, если дождь не хлестал уж слишком сильно. К причудам климата Веррэлл был равнодушен, его лишь

раздражала грязь, пачкавшая пони. Так прошла неделя. Никаких новых слов, никаких изменений в отношениях, ни намек на ежедневно ожидавшееся предложение руки и сердца.

Вдруг просочилась страшная весть: представителю комиссара сообщили, что Веррэлла отзывают (отряд военной полиции остается, но офицер будет прислан другой). Точная дата, правда, не указывалась. Элизабет мучила тревога. Должен же он ввиду близившегося отъезда сказать ей, наконец, кое-что? Самой спросить, неким образом усомнившись в его порядочности, она, разумеется, не могла. Но вот однажды вечером лейтенант в клубе не появился. Не увидела его Элизабет и наавтра, и через день.

Ужаснее всего была необходимость лишь молча, пассивно ждать. Хотя теснейшее общение Элизабет с Веррэллом длилось уже немало, знакомство по-настоящему как бы и не оформилось. Упорно сторонясь четы Лакерстинов, лейтенант ни разу не зашел к ним, что, соответственно, исключало визиты или хотя бы записки к нему. Утренние его тренировки на плаце тоже прекратились. Да, ничего иного кроме ожидания, когда он сам объявится. А когда? И когда же предложение руки и сердца? Ведь он должен, он должен! Тут тетушка с племянницей (ни словом не касаясь запретной темы) веровали дружно и свято. Трепещущая надеждой, Элизабет изнывала. Господи милосердный, помоги, удержи его хотя бы на неделю! Еще четыре, даже три прогулки, нет, даже двух хватит, и все будет прекрасно. Господи, смилуйся, поторопи его явиться! Только бы он пришел скорее, он не сможет уйти с обычным «доброй ночи!», он скажет! Все вечера дамы просиживали в клубе допоздна, прислушиваясь к шагам на крыльце, – напрасно. Злобный Эллис ехидно, понимающе ухмылялся. Но самым мерзким дополнением к мукам стал дядюшка, атаковавший теперь непрестанно. Распутник почти перестал таиться, прижимая и лапая Элизабет чуть ли не на глазах у слуг. Единственным средством обороны оставалась угроза пожаловаться тете; к счастью, ума мистеру Лакерстину не хватало сообразить, что вот это-то для Элизабет было категорически исключено.

На третье утро, тетя с племянницей, укрывшись в клубе за минуту до хлынувшего стеной ливня, едва успели отдышаться, как из коридора донеслась твердая офицерская поступь. Дыхание у обеих дам перехватило – он! Расстегивая длинный дорожный плащ, в салон вошел молодой человек. Чрезвычайно бодрый здоровяк лет двадцати пяти, практически без лба, зато с густыми пшеничными волосами, красными щеками и, как немедленно выяснилось, оглушительным смехом.

Миссис Лакерстин издала невнятный шипящий звук, выразивший разочарование. Здоровяк, однако, будучи простым веселым парнем из тех, что вмиг со всеми накоротке, приветствовал дам добродушным балагурством:

– Хо-хо! Волшебный принц ворвался! Я, того самого, не нарушил? Может, прием по случаю или великосветский званый вечерок? Не помешал?

– Прошу вас! – несколько оторопев, сказала миссис Лакерстин.

– А чего, думаю, схожу-ка сразу в клуб, хоть огляжусь. Так, знаете, для срочной акклиматизации в местных крепких напитках. Ночью только приехал, прямо этой ночью.

– Вы здесь остановились? – протянула миссис Лакерстин, не ожидавшая никаких приезжих.

– Точно так. С полнейшим, прямо-таки, удовольствием.

– Но мы не слышали... Ах да! Я полагаю, вы из Лесного департамента, на место бедного мистера Максвелла?

– Из департамента? Ни в коем разе. Буду погонялой сипайской боевой команды.

– Как-как?

– Явился новым командиром военных полицейских. Бразды взять у старикана Веррэлла. Ему, братишке, приказ срочно вернуться в конный полк. Собирался как бешеный. Такой, скажу вам, тарарам оставил вашему покорному!

Молодой весельчак и не заметил, как исказилось лицо обомлевшей девушки. Даже госпожа Лакерстин не сразу смогла вымолвить:

– Мистер Веррэлл, вы говорите, собирался? Готовится к отъезду?

– Готов! Уже отъехал!

– Он уехал?

– Ну да, то есть тронется, думаю, через полчаса. Я-то устал как пес, не стал ждать, чтоб платочком помахать. Коняшек его загрузил да и сюда...

Последовали, вероятно, прочие разъяснения, но ни тетушка, ни племянница их не услышали – через секунду обе стояли у входных дверей.

– Бармен, рикшу немедленно к крыльцу!

Вторая фраза: «На станцию, джалди! Пошел!» прозвучала уже в повозке, сопровождаясь для понятности тычком зонта в спину неповоротливого рикши.

Элизабет закуталась плащом, тетя в повозке раскрыла зонт, но проку было мало. Ливень хлестал такой, что, еще не выбравшись из ворот, обе дамы насквозь промокли. Впряженного рикшу едва не опрокинуло; согнув

голову, он с надсадным стоном тянул экипаж против ветра. Элизабет была горячая дрожь. Что-то не то, не то! Он написал, а письмо потерялось. Конечно, потерялось! Так не должно, это неправильно! Не мог же он вдруг, без единого словечка, ее бросить! И даже если так, надежда не потеряна! Вот он увидит ее на платформе, в последний раз, и сердце его дрогнет, он не сможет ее оставить! Станция уже рядом. Элизабет чуть отстала от повозки, хлопая себя по лицу, чтобы бледные щеки порозовели. Вымокшие сипаи, в жалко обвисшей униформе, суматошились на перроне с грузовыми тележками. Люди его отряда. Слава Богу, до отправления еще четверть часа! Спасибо, Господи, что подарил хоть эти минуты свидания!

Какой то паровозный состав, лязгнув и зафырчав, двинулся по рельсам. Низенький смуглый начальник станции, одной рукой придерживая на голове слетавший с форменного топи капюшон плаща, а другой рукой отталкивая двух галдящих ему в уши индусов, уныло смотрел вслед уползающим вагонам. Миссис Лакерстин возбужденно выкрикнула сквозь дождь:

– Дежурный!

– Мэм?

– Какой поезд уходит?

– На Мандалай, мэм.

– Мандалайский? Не может быть!

– Ручаюсь вам, именно этот, – сняв шлем, приблизился начальник.

– Но мистер Веррэлл, офицер? Он же не там?

– Там, мэм, только что отбыл, – махнул начальник на скрывшее поезд облако пара

– Но ведь еще не время!

– Да, мэм, по расписанию отправка через десять минут.

– Как же вы допустили?

Круглое смуглое лицо растерянно сморщилось, плечи недоуменно поднялись:

– Не знаю, сам не знаю, мэм! Небывалый случай! Молодой лейтенант так решительно приказал отправлять! «Нечего, – заявил он, – дожидаться!» Я ему говорю, надо бы кое-что подправить, а он говорит, ему плевать. Я его убеждаю, а он требует, и вот...

Станционный начальник развел руками, свидетельствуя полную беспомощность перед приказами столь самовластных британских командиров. Возникла пауза. Два индуса, усмотрев для себя некий шанс, подбежали, возмущенно тыча под нос миссис Лакерстин какие-то засаленные книжечки.

– Что им надо? – испуганно отпрянула мадам
– Торговцы фуражом, мэм; одному офицер Веррэлл не заплатил за сено, другому за зерно.

Вдали протяжно засвистел гудок. Длинной гусеницей огибая равнину, поезд мигнул окошком, словно через плечо, и исчез. Влажно захлопали мокрые белые штанины на ногах удалявшегося к перрону станционного начальника. От Элизабет торопился сбежать Веррэлл или же от долгов, этот весьма занимательный вопрос навек остался без ответа.

Обратный путь был нелегким, ревущий ветер швырял назад и долго не давал подняться на холм. Войдя домой, дамы буквально пали бездыханными. Слуги помогли снять тяжелые промокшие плащи, Элизабет потрясла головой, сливая с волос ручьи. Миссис Лакерстин нарушила, наконец, длившееся всю дорогу молчание:

– Боже, какая вульгарная бесцеремонность – да-да, именно бесцеремонность!

Несмотря на исхлестанное ветром лицо смертельно бледная, едва живая, Элизабет не выдала своих чувств:

– Мог все-таки проститься с нами, – кратко обронила она.

– О, помяни мое слово, дорогая, это счастье, что ты избавилась от подобного субъекта! Мне этот молодой человек сразу показался жутко, жутко одиозным!

Позже, когда дамы, приняв ванну, переодевшись и слегка придя в себя, сидели за столом, мудрая родственница спросила невзначай:

– А какой, кстати, сегодня день?

– Суббота, тетя.

– Ах, суббота! Значит, вечером приезжает наш дорогой священник. Интересно, сколько же паствы соберется завтра к воскресной службе? Мне почему-то кажется, почти все будут. О, чудесно! По-моему, и мистер Флори как раз собирался вернуться. Да-да, и наш милейший мистер Флори!

Около шести вечера усилиями дергавшего за веревку старого Мату под крохотным церковным шпилем слабенько затренькал невесомый цинковый колокол. Сквозь струи ливня плац сиял бликами многоцветных закатных отражений. К шумящему дождю уже привыкли. Христианская община Кьяктады, числом ровно пятнадцать членов, подтягивалась в храм.

У крыльца собрались и Флори, и держащий у груди серый топи мистер Макгрегор и прочие, и, разумеется, раньше всех прискакавшие в свежевывстиранных солдатских обносках господи Франциск и Самуил, для которых каждый приезд духовного наставника бывал событием грандиозным. Надевший в доме представителя комиссара поверх рясы стихарь, высокий седовласый священник с благородно иссохшим лицом приостановился возле ворот. Несколько натянуто улыбаясь, его преподобие безмолвно щурился через пенсне, лишенный возможности как-либо объясниться с четырьмя кланявшимися новообращенными юными христианами из племени каренов. Среди паствы присутствовал также постоянно являвшийся, никому не известный, жавшийся позади дочерна смуглый индеец (несомненно, еще младенцем отловленный и крещеный миссионерами в их тщетной охоте за взрослым туземным населением).

С холма спускались Лакерстины, оба супруга и племянница в лиловом платье. Флори уже видел Элизабет утром в клубе, где на минуту довелось остаться с ней наедине. Он спросил только:

– К лучшему, что Веррэлл уехал?

И ее тихое «да» вполне заменило долгие объяснения. Флори обнял ее, она откликнулась – в утренних ярких лучах, беспощадно высвечивавших пятно на щеке, – откликнулась охотно. Упала ему на грудь, как ребенок, ищущий защиты. Он приподнял ее нежный подбородок, хотел поцеловать, она вдруг вскрикнула. Кто-то вошел, секунды не хватило произнести «будете ли вы моей женой?», но теперь времени предостаточно. Может быть, в следующий же свой приезд священник их обвенчает.

От клуба втроем приближались, хватив напоследок еще по чарочке для бодрости, Вестфилд, Эллис и новый полицейский офицер. За ними следовал занявший инспекторский пост Максвелла худой сутулый господин с абсолютно лысым черепом, зато пучками необычайно пышных бакенбард. Флори успел лишь бросить Элизабет «добрый вечер». Звонарь Мату, видя, что все собрались, перестал дергать колокольную веревку, и

священник, в сопровождении мистера Макгрегора, Лакерстинов, а также верных духовных чад каренов, прошествовал к алтарю. Эллис, дохнув облачком виски, хохотнул в ухо Флори:

– Равняйся, смирно! На парад гундосить шагом марш!

Под руку с новым офицером они замкнули процессию прихожан (молодой весельчак, вихляя задом на манер солистки пуэ). Флори уселся в одном ряду с Элизабет, справа от нее, впервые рискнув открыто повернуться меченой щекой. «Глазки прикрой, детка, и посчитай до ста», – шептал Эллис чуть не падавшему со скамьи, неудержимо прыскавшему приятелю. Мадам Лакерстин поставила ногу на педаль фисгармонии размером с дамский письменный столик. Мату за дверью принялся дергать висевшее над передними («европейскими») скамьями опахало. Фло, проскользнув, свернулась у ног Флори. Служба началась.

Смутно помнивший молитвенный ритуал, Флори почти не слушал, вместе со всеми опускаясь на колени и беспрестанно восклицая «аминь» под шелестящий сзади богохульный комментарий Эллиса. Мысли рассеянно блуждали. В сиянии счастья Эвридика возвращалась из ада. Закатный луч, упав сквозь раскрытые двери, вызолотил шелк на солидной спине мистера Макгрегора узорной царственной парчой. Хотя здесь, на виду у всех, Флори держался, ни разу даже не взглянув на Элизабет, от нее отделял лишь узкий проход, так что слышался каждый шорох ее платья, каждый вздох и, казалось, само нежнейшее дыхание ее тела. Несмотря на старательное накачивание мехов, издырявленные легкие фисгармонии простужено сипели. Пение псалмов звучало своеобразно, составляясь из звучного баритона мистера Макгрегора, стыдливого бормотания остальных белых и прилежного мычания каренов, не знавших ни слова по-английски.

Опять на колени, под шепот Эллиса «скрип-скрип, коленки драные!». Смеркалось, барабанил дождь по крыше, шумели за стеной деревья. Сквозь пальцы прижатых к лицу ладоней Флори видел кружение опавших листьев за окном; вот так же двадцать лет назад утром по воскресеньям, завораживая его взгляд плавным трепещущим полетом, кружилась бурая листва в окне присыпанной первым снежком соседней церкви. Сначала? Сбросив, забыв всю грязь последних лет? Украдкой из-под ладони он поглядел вправо: Элизабет на коленях, голова опущена, лицо прикрыто руками в трогательных конопушках. Когда они поженятся... когда они поженятся! Как милы станут мелочи их дружной жизни в этом радушном чужадальном краю! Вот он, усталый, возвращается с просеки, а она бежит навстречу из палатки, и К°-Сла уже тащит бутылку пива. Вот она идет рядом по лесу, разглядывая диковинные цветы и хохлатых пичужек в ветвях

баньяна, вот они сквозь сырой туман шагают по болоту и палят из засады в диких уток. Дом она совершенно переделает, превратит холостяцкую нору в уютную гостиную, с новой мебелью из Рангуна, букетом розовых бальзаминов на столе, с акварелями в рамках над черным роялем. Да, прежде всего – рояль! Не особенно музыкальному, Флори рояль всегда виделось воплощением прекрасного утонченного быта. Навеки сгинут вычеркнутые из жизни последние десять лет гнусных пьянок, одинокой хандры, лжи, всей этой помойной карусели со шлюхами, ростовщиками, пакка-сахибками.

Священник вошел на маленькую, приспособленную для церковных нужд школьную кафедру, достал стопку листочков и, откашлявшись, возгласил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!»

– Не тяни, Христа ради! – в унисон бормотнул Эллис.

Минуты текли, мерно рокотали слова проповеди, Флори не слушал, погруженный в мечты. Когда они будут вместе, вот когда они будут вместе, все...

А? Что? Что такое?

Замерший на полуслове священник, сняв пенсне, огорченно указывал им на кого-то в дверях церкви, откуда несло наглое, хриплое:

– Пайк-сэн-пэй-лайк! Пайк-сэн-пэй-лайк!

Все повскакали со скамей и обернулись. Добившись общего внимания, Ма Хла Мэй оттолкнула с порога старого Мату, вошла и завопила, грозя кулаком:

– Пайк-сэн-пэй-лайк! Пайк-сэн-пэй-лайк! Ага, я к этому, этому Флори! Вон он, Флори, расселся там впереди! Ну-ка иди сюда, трус подлый! Отвечай, где деньги, которые мне обещал?

Безумный визг ошеломил сидевших в церкви, люди оцепенели, глядя на нее – настоящую базарную ведьму, осыпанную грязной пудрой, нечесаную, в изодранном лонги. Под ложечкой свело ледяным ужасом. О боже, боже! Неужели Элизабет поймет сейчас, что это и есть та самая его любовница? Поймет! Нет никакой надежды, сто раз прозвучало его имя! Услышав знакомый голос, Фло выбралась из-под скамьи и подбежала к Ма Хла Мэй, приветливо виляя хвостом. Страшная оборванка без устали вопила, перечисляя преступления обидчика:

– Смотрите, белые мужчины, белые женщины! Глядите на меня, голодную, бездомную! Глядите на мои лохмотья! Глядите, до чего довел! И сидит, притворяется, что знать не знает! Выкинул как паршивую собаку и дела нет! Ну так смотри, смотри, подлец, на тело, которое ты столько целовал! Смотри!..

И она стала срывать с себя тряпки, обнажаясь, демонстрируя величайший позор для бирманки. Фисгармония резко запищала (судорожно качнулась миссис Лакерстин), люди опомнились, зашевелились. Беззвучно шлепавший губами священник обрел голос и строго повелел «удалить эту женщину».

Сжав зубы, упорно глядя в стену, Флори силился выглядеть спокойным, но лицо его помертвело, со лба катил пот. Самуил и Франциск, впервые в жизни, может, сделав нечто полезное, бросились и выволокли из церкви визжавшую Ма Хла Мэй.

Крик постепенно удалялся, замирал, наконец настала полная тишина. Все еще находились под сильным, тягостным впечатлением. Даже Эллис враждебно помрачнел. Флори не мог ни двинуться, ни открыть рот – сидел, окаменев, не отрывая глаз от алтаря, белый как покойник, со своей будто воспаленной черно-багровой отметиной. Взглянувшую на него Элизабет передернуло от острой физической брезгливости. Хотя что именно кричала тут бирманка, она не поняла, смысл сцены был абсолютно ясен. Любовник этой вот вопившей грязной твари? Бр-р, мерзость! Но противнее, противней всего на свете, его старое страшное лицо. Не лицо, а могильный череп, по которому какой-то живой нечистью ползет огромное безобразное пятно. О, лишь сейчас она увидела, сколь унижительно, сколь непростительно это уродство!

Как и подобает крокодилу, судья ударил, в точности найдя больное место. Успех сцены, разыгранной Ма Хла Мэй, лишний раз доказал талант сценариста и режиссера У По Кина.

Священник быстро завершил проповедь. Все поспешили к выходу, избегая смотреть на Флори. Слава богу, почти стемнело. Чуть отойдя от церкви, Флори остановился, следя за парами, устремившимися в клуб. Торопятся! Еще бы, появилось нечто, что надо срочно обсудить! Опрокинувшись брюхом вверх, Фло шаловливо цепляла лапами ботинки, просила поиграть. «Да отвяжись ты, к черту!», – пнул он собаку. На церковном крыльце показалась Элизабет. Мистер Макгрегор имел счастливый случай представить ее священнику. Затем оба джентльмена направились к дому представителя комиссара, где его преподобие останавливался на ночлег, а девушка направилась к клубу. Флори побежал за ней, догнав у самых клубных ворот.

– Элизабет!

Она, вздрогнув, оглянулась и торопливо пошла дальше. Он в отчаянии схватил ее за запястье.

– Элизабет! Пожалуйста, я должен объяснить!

– Позвольте мне пройти, вы что?

Она дергала руку, он не отпускал. Двое вышедших из церкви каренов замерли, тараща во все глаза. Флори постарался говорить спокойнее:

– Конечно, я так грубо, я не имею права. Но Элизабет, мне надо, мне необходимо с вами поговорить! Выслушайте, пожалуйста. Не убегайте!

– Отпустите вы мою руку? Дадите, наконец, пройти? Пустите!

– Да-да, сейчас, минуту! Скажите лишь одно – когда-нибудь потом, когда-то после, вы сможете меня простить?

– Я вас? За что же вас прощать?

– Конечно, моему позору нет предела. Какой-то подлый случай! Но это все не совсем так. Вы сами потом увидите. Сейчас, конечно, невозможно, я понимаю, но когда пройдет время, когда будет не так ужасно, вы сможете забыть?

– О чем вы? Что забыть? Странные мысли! Сцена была, на мой взгляд, отвратительна, но мне-то какое дело? Почему вы вообще решили в связи с этим меня допрашивать?

Он почти потерял надежду. И тон ее, и все слова буквально повторяли тот, прежний их ужасный разговор. Опять она не хочет слушать, притворяется, хочет лишь ускользнуть.

– Элизабет! Пожалуйста! Прошу, будьте же справедливы! Сейчас это очень серьезно, не сможете же вы бросить меня, когда и без того мне хуже некуда. Вы же недавно согласились стать мне женой и...

– Я? Вашей женой? Когда? Вы что, с ума сошли?

– Не на словах, но ведь все было ясно между нами.

– Между нами ничего не было! Вы себе позволяете бог знает что. Я спешу в клуб. Прощайте!

– Элизабет! Элизабет! Это не игры, не детские ссоры. Вы знали, что до встречи с вами я жил иначе. Сегодняшний случай только печальное напоминание. С этой несчастной я действительно был близок, да, признаю, однако...

– Не желаю слушать ваши гадости! Все!

Он снова схватил ее запястья и не позволил тронуться. К счастью, карены уже удалились.

– Придется вам послушать! Уж лучше невежливо обидеть вас, чем опять рухнуть в кошмарную мутную зыбкость. За столько дней ни разу нельзя было прямо поговорить с вами. Будто вам непонятно, как я мучился. Вы больше не сбежите без ясного ответа.

Она пыталась вырваться и проявила недюжинную силу. В лице ее горела такая ненависть, что несомненно она ударила бы, не держи ей

Флори руки.

– Пустите! Вы, животное! Пустите!

– Боже, Элизабет! Вот так бороться с вами! Боже, что мне делать? Я не могу вас отпустить. Вы должны выслушать!

– Нет! Не хочу! Хватит допрашивать!

– Простите, не сердитесь! Ответьте только – когда-нибудь, когда все это стихнет, вы выйдете за меня?

– Нет! Нет! Никогда!

– Не говорите так. Я постоянно пробую вам объяснить, что вы для меня значите, но как-то не выходит! Попробуйте меня понять, ведь я рассказывал о здешней жизни – полумертвой, в тоске, нитье и горьком одиночестве. Пожалуйста поймите, что вы, единственная на земле, кто мог бы стать моим спасением.

– Дадите вы уйти? К чему эта дикая сцена?

– Разве для вас пустой звук то, что я люблю вас? Вряд ли вы представляете мои мечты о жизни с вами. Если б вы захотели, я женился бы, дав обещание до конца дней даже не прикоснуться к вам. Только б вы были рядом. Я не могу больше – один, всегда один. Ну неужели для вас невозможно когда-нибудь простить меня?

– Я никогда за вас не выйду! Никогда! Лучше вообще не выйду, лучше за мусорщика, за последнего бродягу!

Она уже кричала, и он видел, что это искренний ответ. Глаза у Флори защипали. Он проговорил:

– Ладно, последнее. Поверьте, не так уж мало, если в мире есть кто-то, действительно вас любящий. Поверьте, что, хотя найдутся кавалеры и богаче, и моложе, и всеми данными превосходящие меня, никто не будет к вам нежнее, заботливей. И хоть средства мои невелики, на них вполне возможно прилично жить. Устроить красивый и уютный дом, завести...

– Кажется, мы достаточно поговорили? – сказала она, вернув сдержанный тон. – Могу я уйти, пока никто не появился?

Он слегка разжал руки, схватившие ее запястья. Потеряна, навек потеряна. Единственная. С яркостью галлюцинаций побежали прекрасные картины: их дом; их сад; Элизабет, сыплющая рис голубям на аллейке возле куста вымахавших почти ей до плеча лимонно-желтых флоксов; книжные стеллажи и акварели в изящных рамках, стол с букетом бальзаминов в китайской вазе и черный лаковый изгиб рояля. Рояля – заветной мечты, разбитой глупым подлым случаем.

– И у вас обязательно был бы рояль, – с отчаянием сказал Флори.

– Я не играю на рояле.

Он отпустил ее. Все кончено. Освободившись, Элизабет со всех ног кинулась в сад. Под деревом, сняв очки, аккуратно вытерла следы сердитых слез. Ух, гнусное животное! Наверно на запястьях синяки. Свинья! А это лицо в церкви, жуткое костяное лицо с этим тошнотворным пятном. Просто убила бы! Брезгливо возмущала не гадкая история с бирманкой, тысячу всяких таких гадостей она могла простить. Невозможно было простить сцену его публичного позора, но главное – столь явственное в тот момент его уродство. Его роковую, действительно зловещую отметину.

Тетя придет в ярость, когда узнает, что она отказала Флори. И еще дядя, нагло, похотливо трущщийся своим жирным брюхом. Жить у них станет невозможно. Может, в конце концов, придется незамужней ехать обратно в Англию. Тараканы! Пусть даже тараканы над сальной раковиной, пусть навечно старой девой, только не с этим мерзким жалким типом! Лучше уж умереть. Забылись все корыстные расчеты. Забылось, что Веррэлл бросил ее, и брак с Флори давал пристойный выход. Помнились лишь омерзение и стыд при взгляде на всеми презираемое ничтожество, противное нормальным людям, как припадочный или прокаженный. Органически неодолимый инстинкт отторжения уродов победил доводы рассудка и даже некий личный интерес.

Бежать на крутой холм Флори не мог, но шагал полным ходом. Решение требовало немедленного исполнения. Стало совсем темно. Бедная Фло, не понимавшая тяжести обстоятельств, вертелась возле самых ног, скуля, жалобно упрекая за пинок. У дома порыв ветра пригнул застонавшие деревья и вместе с охапками листьев швырнул волну острого сильного запаха влаги. Сейчас снова хлынет. Ко Сла накрыл стол, смахнув кучку жуков, совершивших самосожжение над керосиновой лампой. Об эпизоде в церкви слуга очевидно еще не знал.

– Ужин готов, наисвятейший. Подавать?

– Погоди. Дай-ка мне ту лампу.

С лампой в руке Флори прошел в спальню и закрыл дверь. Дохнуло привычной затхлостью с табачной вонью. Прыгающий кружок света выхватывал ряды сизых от плесени книжных корешков, ящериц на стене. Итак, назад, опять в нору, в свое подполье. Не вышло убежать.

Невыносимо! Раньше терпел. Как-то спасался: книги, сад, виски, работа, девки, охота, разговоры с доктором.

Теперь никак. Едва она приехала, иссякшие, как думалось, силы страдать, а главное, надеяться, воспрянули. Жить захотелось. Почти уютная уже сонная пелена лопнула. И если так худо теперь, что ж будет завтра? Скоро кто-нибудь другой на ней женится. Нетрудно представить, как ему

сообщат новость: «Слыхал? Малютка Лакерстин все-таки подцепила дурня, на днях поведет окольцевать беднягу». И собственный небрежный, с подчеркнутым безразличием, вопрос: «Да-а? И когда же буйное торжество?». А затем день ее свадьбы, а затем ее свадебная ночь... не надо, ужас! Так-так. Не отворачивайся! Ужас. Он вытащил из-под кровати солдатский сундучок, достал револьвер, крутанул барабан, вставил патрон.

Насчет Ко Сла позаботиться. И насчет Фло. Положив револьвер на стол, он вышел. Фло под кухонным навесом, возле оставленной слугами жаровни играла с младшим сынишкой Ко Сла, карапузом Ба Шином. Изображая хищное нападение, Фло прыгала вокруг мальчонки, а тот, голышом, в красных отблесках угля на гладком тельце, хихикал, легонько и опасно шлепая ее.

– Ко мне, Фло!

Она послушно прибежала и остановилась у входа в спальню. Что-то ее беспокоило, насторожило. Она медлила, робко глядя на хозяина, не отваживаясь переступить порог.

– Давай!

Фло виляла хвостом, но не двигалась.

– Ко мне, Фло! Ну, ко мне, моя старушка, ко мне!

Фло вдруг съежилась, заскулила и, поджав хвост, попятилась назад. «Давай же, черт тебя!», – закричал Флори. Схватив собаку за шиворот, он кинул ее в спальню, захлопнул дверь и пошел к столу взять револьвер.

– Нет, ближе! Ко мне, я сказал!

Она села и тоненько, умоляюще завывала. Душа его разрывалась. «Давай, девочка! Давай, миленькая! Что ты, хозяин не обидит, иди сюда!». Медленно-медленно она стала подползать на брюхе, повизгивая, отворачиваясь, будто боялась его глаз. Когда до Фло осталось меньше метра, Флори выстрелил.

Ключья ее мозгов напоминали алый бархат. С ним так же будет? Нет, тогда не в голову, а в сердце. Послышались крики бегущих слуг, которых, видимо, всполошил выстрел. Он поспешно рванул пиджак и приставил дуло к рубашке. Крохотная, полупрозрачная как мутный желатин, ящерка кралась вдоль стола за белым мотыльком. Он нажал на курок.

В первый момент, ворвавшись, Ко Сла увидел только мертвую собаку, потом ноги лежащего ничком за кроватью хозяина. Он закричал, чтобы не выпускали детей, испуганные люди побежали обратно к хижинам. Ко Сла бросился к Флори, в дверь сунулся примчавшийся с веранды Ба Пи:

– Он застрелил себя?

– Похоже, так. На спину, осторожней. Ох ты! Бегом за доктором

индусом! Гони во весь дух!

Аккуратное отверстие в рубашке было не больше дырки от проткнувшего лист карандаша. Тело налилось безнадежной трупной тяжестью. С большим трудом Ко Сла сам, не желая ничьей помощи, втащил хозяина на кровать. Двадцати минут не прошло, явился доктор. Услышав что-то бессвязное о несчастье, он на велосипеде помчался сквозь ураганный ливень, бросил велосипед у клумбы, вбежал на порог спальни, задыхаясь, слепой в мокрых очках. Сняв их и близоруко щурясь, тревожно спросил лежавшего Флори: «Что с вами, мой друг? Вы ранены?». Но подойдя ближе, увидел и резко выдохнул:

– Как же, ахх, как же это?

Доктор упал на колени, раздернул рубашку Флори, ухом прижался к его груди. Обезумев от горя, обнял тело, потряс, будто надеясь оживить. Одна рука Флори откинулась, повисла; доктор стал снова укладывать ее вдоль тела и, припав к мертвой руке, разрыдался. Ко Сла стоял в ногах кровати, смуглое лицо набрякло складками морщин. Доктор поднялся, хотел заговорить, но не выдержал, обхватил столбик москитной сетки и опять навзрыд, во весь голос зарыдал, хлюпая носом, комично и жутковато дрожа пухлыми плечиками. Наконец он пришел в себя и обернулся:

– Что тут произошло?

– Мы слышали два выстрела. Он сам себя. Из-за чего, не знаю.

– Почему ты уверен, что сам? Почему не несчастный случай?

Вместо ответа Ко Сла молча показал на труп собаки. Доктор задумчиво нахмурился, потом бережно натянул простыню, прикрыв и тело, и лицо. Вместе с жизнью с лица сразу почти исчезла и отметина, превратившись в легкую серую тень.

– Собаку немедленно зарыть. Я сообщу мистеру Макгрегору, что это был несчастный случай при чистке револьвера. Только обязательно схороните собаку. Ваш хозяин был моим другом. Нельзя, чтоб на могильной плите упоминалось о самоубийстве.

Повезло, что священник еще не уехал и успел на завтра, перед вечерним поездом по всей ритуальной форме прочесть панихиду, даже кратко почтить добродетели покойного. Все мертвые англичане безгрешны. Официальной версией (на основании акта безупречно составленной доктором медицинской экспертизы) признали несчастный случай, что и было выбито на надгробной плите. Не все, конечно, поверили. Истинной эпитафией Флори стала реплика, изредка и недолго – умерших в Бирме англичан быстро забывают – мелькавшая в разговорах: «Флори? Ах да, тот чернявый с пятном, что в 1926-ом в Кьяктаде застрелился. Из-за девчонки вроде бы, вот дурень». Никто кроме Элизабет особенно не удивился. Самоубийства европейцев в дальних индийских краях дело обычное.

Смерть Флори имела несколько последствий. Главное из них – предсказанный самим доктором полный крах суперинтенданта, гражданского хирурга Верасвами, лишившегося дружбы с белым. Статус Флори среди прочих европейцев был не особенно высок, однако и такой белый приятель все же давал некий престиж. Едва его не стало, падение доктора сделалось неизбежным. Слегка выждавший У По Кин ударил сокрушительно, менее чем за три месяца вбив в головы местных европейцев стойкое недоверие к доктору. Расследований никаких не проводилось, и в чем, собственно, заключалась докторская подлость, не смог бы объяснить даже Эллис, но общественное мнение было единодушным, выразившись коротеньким бирманским определением «шок ди». «Шок ди» означает примерно «ненадежный, сомнительный», чиновному аборигену с таким эпитетом конец. И хотя Верасвами, как все признавали, являлся малым для туземца башковитым и лекарем отменным, он стал в глазах белых безусловным, безусловно обреченным, шок-ди.

Не умевший услужливо подольститься и, стало быть, отрезанный от карьерных высот, доктор, с понижением до ассистента хирурга, был переведен в мандалайский муниципальный госпиталь. Он и теперь там, вероятно навсегда. Пыльный, невыносимо душный Мандалай город довольно скучный; славу его, как шутят остряки, составляют пять «пэ» – пагоды, паразиты, поросята, пасторы и проститутки. С утра до вечера доктора кружит рутина однообразных фельдшерских хлопот. Живет он на больничных задворках, в маленькой бывшей пекарне с огороженным рифленой жестью палисадничком. По вечерам подрабатывает частной

практикой. Его приняли в клуб, где основное общество представляют индийские стряпчие, но есть и один европеец. Гордость клуба – уроженец Глазго мистер Макдугалл, электрик, уволенный из речной транспортной компании за пьянство, в настоящее время неопределенно проживающий у гаражей. Интересуют этого унылого болвана только виски и проводки моторов, и хотя доктор, сохраняя веру в величайший разум европейцев, упорно пробует завязать с ним «культурную беседу», результаты весьма неудовлетворительны.

Ко Сла, унаследовав по завещанию Флори четыреста рупий, открыл чайную на базаре. К сожалению, из-за бесконечных свар между двумя помогавшими ему женами торговля прогорела, и К° Сла с братом снова пошли в услужение. Будучи слугой превосходным – помимо таких искусств, как поставка девиц, займы у ростовщиков, уход за пьяным хозяином и приготовление похмельного снадобья под названием «устрицы прерий», он умел шить, штопать, заряжать патроны, следить за лошадьё, гладить костюм и замечательно украшать стол композициями из нарубленных листьев с крашеным рисом, – Ко Сла ценился месячным окладом в полсотни рупий. Но распустившихся на службе у Флори, и его, и брата увольняли из всех строго налаженных домов. Целый год пришлось бедствовать, тогда-то карапуз Ба Шин начал кашлять и насмерть задохнулся в одну особенно душную ночь. Сейчас Ко Сла вторым лакеем у брокера рангунской рисовой биржи, господина, чья супруга отличается крайне нервной въедливостью, а Ба Пи таскает этой хозяйке корзины за шестнадцать рупий в месяц. Ма Хла Мэй в мандалайском борделе. Хорошенькое личико увяло, клиенты платят ей всего четыре аны и частенько колотят. Она, может быть, как никто другой горюет о днях, когда Флори был жив и давал ей так много, так глупо растративших денег.

Почти все мечты У По Кина сбылись. После падения доктора дорога к избранию в клуб открылась, и судья, несмотря на яростное сопротивление Эллиса, был избран. Европейцы довольно быстро привыкли к его присутствию, тем более что являлся он не каждый день, вел себя прилично, виски хлестал великолепно и буквально за пару партий блестяще освоил бридж. Вскоре его повысили, переведя в другой округ с назначением на пост исполняющего обязанности представителя комиссара. За год, который он там прослужил до ухода на заслуженный отдых, одни взятки принесли ему двадцать тысяч рупий. А через месяц после выхода на пенсию ему из Рангуна поступило приглашение явиться на торжественный официальный прием.

О, это было внушительное зрелище! На украшенном флагами и

цветами помосте восседал сам губернатор во фраке, со свитой расположившихся сзади секретарей. По периметру зала застыл восковыми фигурами караул губернаторской охраны: рослые бородатые телохранители с длинными пиками, на концах которых сияли шелковые вымпелы. За стеной периодически ревел оркестр. Галерея нарядно переливалась белыми инги и розовыми шарфами бирманских леди. В партере более сотни человек ожидали своей очереди в церемонии награждения. Там были и крупные чиновники бирманцы в атласных пасо, и почтенные индийские персоны в парчовых пагри, и британские офицеры в полной парадной форме со звенящими саблями, и ветераны бирманского воинства – тхаги с высокими узлами седых волос, с заложенными на плечо, отливавшими серебром дахами. Секретарь ясно и звонко оглашал имена удостоенных разных высоких наград, от грамот с серебряным тиснением до Ордена Империи. И вот на весь зал раздалось:

«Исполнявшему обязанности представителя комиссара У По Кину, за долголетнюю преданную службу, за особое мужество, проявленное при разгроме опаснейшего мятежа в округе Кьяктада, а также...».

Два специальных пажа помогли У По Кину подняться, он вперевалку направился к помосту, поклонился насколько позволяло необъятное брюхо, был наиболее почетным образом декорирован и поздравлен, а на галерее в эту минуту Ма Кин с группой поддержки махали шарфами и бешено аплодировали.

Все, чего мог достичь на этой земле смертный, было совершено. Осталось подготовить благоприятный переход в мир иной – проще говоря, заняться постройкой пагод. Однако в этом пункте великолепно разработанной программы произошел досадный сбой. Через три дня после приема у губернатора, не успев оплатить ни камня для святилища, У По Кина хватил апоплексический удар и он скоростижно скончался. Нет защиты от могучего рока. Скорбь и печаль охватили Ма Кин. Сколько бы пагод она не построила, мужу это не поможет, небеса учитывают лишь самоличные деяния. Бедная Ма Кин дни напролет терзается, думая о супруге, который теперь блуждает во тьме какой-то неведомо жуткой преисподней с жаровнями, джинами и змеями. И даже если таких страшных пыток удалось избежать, если душа его переселилась в новое тело, наверняка оно не выше жабы или крысы. И может, прямо в этот миг его заглатывает ядовитая гадюка.

Что касается Элизабет, судьба ее сложилась как нельзя лучше. После смерти Флори миссис Лакерстин, оставив всякие околичности, разъяснила, что других кавалеров в городишке нет и единственная надежда это Рангун.

В Рангун, однако, барышне одной ехать было неприлично, а сопровождать ее, рискуя обречь мистера Лакерстина на гибель от белой горячки, тетушка тоже не могла. Время шло, время уходило, сезон ливней достиг кульминации и Элизабет наконец решила, смирившись, вернуться в Англию. Но тут ей сделал предложение мистер Макгрегор. Мысль эту он лелеял давно и только ждал приличного интервала после похорон Флори.

Элизабет охотно согласилась. Жених, возможно, был несколько староват, но респектабельность его ранга делала эту партию значительно более привлекательной, нежели брак с тем же Флори. Это очень счастливая чета. Добросердечная манера мистера Макгрегора после женитьбы стала еще более грациозной и обаятельной. Рокошующий его баритон звучит тише, утренний атлетический тренаж оставлен. Элизабет необычайно быстро обрела светскую зрелость, и некоторая жестковатость ее характера проявляется весьма рельефно. Хотя она не говорит ни слова по-бирмански, слуги трепещут перед ней. Она назубок знает «Штатный реестр служащих Бирмы», дает прелестные званые вечера и умеет поставить жен младшего чиновного состава на место. Короче, с полным успехом реализует призвание истиной, образцовой мэм-сахиб.

1934

notes

Примечания

Территория в бассейне верхнего течения главной бирманской реки Иравади; наименее заселенный район лесных джунглей. Действие романа происходит в 1920-е годы, когда Бирма была провинцией Британской Индии... Таким образом, «Верхняя Бирма» означает «самая глушь колониальной глухомани».

Мандалай – город в Центральной Бирме, порт на реке Иравади.

То есть из центральной прессы; Рангун – главный город, ныне столица Бирмы.

В именах крещеных полукровок намеки на идейное соперничество религиозных миссий: ветхозаветное Самуил как знак протестантизма, признающего священной основой только Библию и Франциск, отражающее католический культ святых имя в честь основателя ордена францисканцев.

Дравид – представитель древнейшей индийской (видимо, доарийской) группы народов, населяющих главным образом Южную Индию, принадлежащих к дравидийскому расовому типу и говорящих на языках дравидийской семьи (тамильском, телугу, малайялам и т. д.).

Имеются в виду живущие в индийском штате Мадрас, ныне Тамилнад, тамилы – этнос дравидийской группы (см. пред. прим).

Карены – второй по численности (после собственно бирманцев – мьянма) коренной народ Бирмы.

Гуркхи – основной непальский этнос. Англичане так называли всех вербовавшихся в Непале наемников; отряды гуркхов представляли собой некий аналог российской «Дикой дивизии».

Пакка – буквально «созревший», «сваренный», в переносном смысле – правильный, настоящий; пакка-сахиб – благородный господин (англо-инд.).

Тхибав – король завоеванного англичанами в результате третьей англо-бирманской войны государства Ава (Верхняя Бирма). В 1885 году взятый в плен Тхибав был сослан в Индию.

Речь о поэме «Потерянный рай» Джона Мильтона (1608—1674).

12

Ана – мелкая монетка, $1/16$ рупии.

Уильям Гилберт (1836—1911) – английский писатель, автор комедий и фарсов.

Особа, утомленная мнимой тонкостью чувств; персонаж из романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

Саркастический парафраз обращенных к фарисеям слов Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матфей, 16, 26).

Пагри – намотанный на голову индийский тюрбан (англо-инд.).
Персонаж в пагри – косвенное указание, что это не бирманец.

Упоминаются сочинители популярной беллетристики отнюдь не высшего качества.

Бенарес – город на северо-западе Индии, прославленный центр браминской учености и великолепных ремесел.

См. прим. 8.

Пайса – самая мелкая монета, $1/64$ рупии.

В оригинале тональность слов «нас, европейцев» иронично определена Оруэллом как «интонация мистера Чоллопа из романа Диккенса «Мартин Чезлвит». Мистер Чоллоп – весьма саркастичный образ некоего американского невежды, презрительно наставляющего представителей европейской культуры.

Персонаж романа Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда». Надменная гордячка, соблазненная и оскорбительно брошенная богатым молодым аристократом, но вынужденная по-прежнему служить наемной компаньонкой его матери.

Сикхи – последователи сложившейся в особую религию ветви индуизма; сипай – вербовавшиеся из жителей Индии солдаты британской колониальной армии.

Гостиница при почтовой станции (англо-инд.).

Чин индийского начальника роты сипаев (англо-инд.).

Из стихотворения «К Маргарите» Мэтью Арнольда (1822—1888).

Из анонимного стихотворения начала 16 века, вошедшего в сборник «Ранняя английская лирика», Лондон, 1907, с.69.

Вестфилд буквально повторяет очередную ахинею родовитого «изнемогающего кузена» из романа Диккенса «Холодный дом».

Раджпутами называли людей, принадлежавших к привилегированной воинской касте в княжествах Раджастхана, на юго-западе Индии.